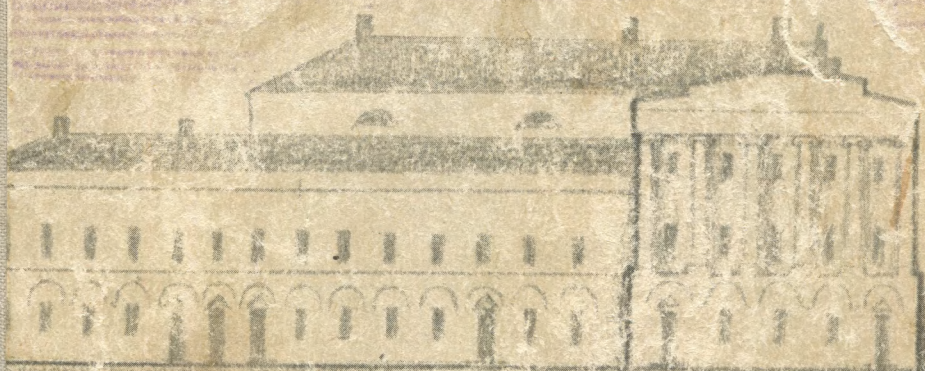


Л. Т Ы Н Я Н О В А

7220  
7-93

ПОВЕСТЬ  
ВЕЛИКОЙ  
АКТРИСЕ





30

2

Л. Т Ы Н Я Н О В А

П О В Е С Т Ъ  
О  
В Е Л И К О Й  
А К Т Р И С Е

-----

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
Москва 1966

*Переработанное издание*

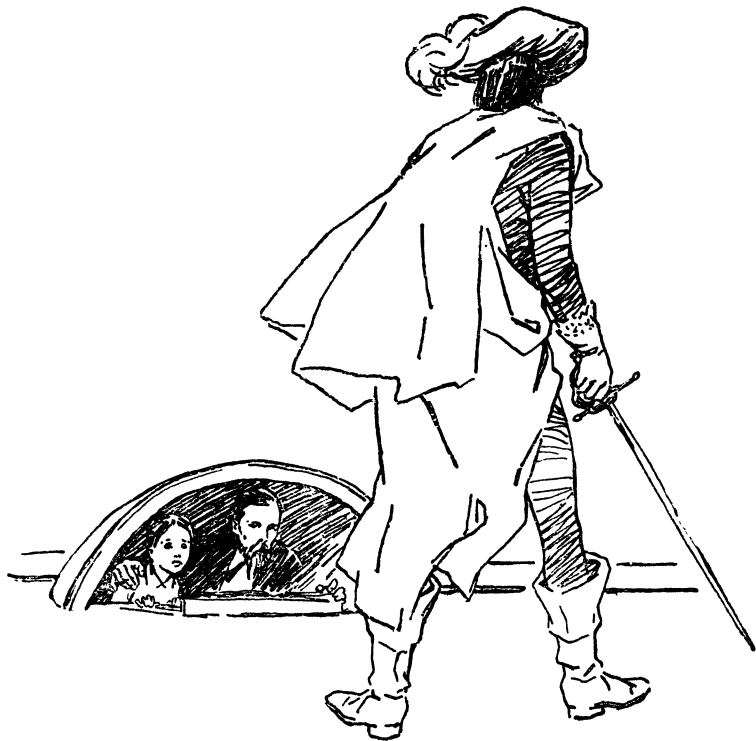
Повесть посвящена жизни великой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой. Трудное детство в бедной семье и театральном училище, первые неудачи, необыкновенная случайность, открывшая дорогу на сцену, новые неудачи и, наконец, полное признание, завоеванное неустанным трудом, — вот ее путь.

В театральном училище Ермолову обучали балетному искусству, к которому у нее не было никакого призвания. Лишь подруги верили в ее драматический талант, и надежды их полностью оправдались. Ей было семнадцать лет, когда блистательный успех в пьесе Лессинга «Эмилия Галотти» заставил говорить о ней всю театральную Москву.

Мария Николаевна Ермолова прожила сложную, полную внутреннего напряжения жизнь. Огромная творческая воля, необычайная целеустремленность, умение преодолевать трудности — таковы главные черты ее характера. В сложной обстановке театральной жизни конца XIX и начала XX века она победила лишь благодаря своей преданности искусству. Она сыграла около трехсот ролей, проявив все многообразие своего редкого таланта.

Нашим читателям автор книги Лидия Николаевна Тынянова известна по повестям: о декабристах («Рылеев», «Каховский»), о великом ученом Дарвине («Друзья-соперники»), о знаменитом русском путешественнике Миклухо-Маклае («Друг из далека»)





## Д Е Т С Т В О

«ТЕБЯ ЗАЩИЩАЮТ ДОН СЕЗАР И ЕГО ШПАГА!»

Худенькая девочка с косичками, в бумазейном платье, прижавшись к отцу, смотрит на ярко освещенную сцену. В суфлерской будке жарко, тесно, почти все время приходится стоять, вытянув шею. Иногда актеры подходят так близко, что она видит только их ноги.

Высокий человек в изодранном плаще и измятой широкополой шляпе, с волочащейся по земле длинной

шпагой, прыгает через железную ограду. Девочка знает, что это испанский дворянин дон Сезар де Базан<sup>1</sup>. Его играет Иван Васильевич Самарин. Шепот восторга пробегаёт по зрительному залу, едва он появляется на сцене. Но он прислушивается к другому шепоту, доносящемуся из суфлерской будки.

— Стань за мной, дитя! Не бойся...

— Не бойся,— гордо повторяет дон Сезар, обращаясь к мальчику Лазарильо, за которым гонятся солдаты.— Тебя защищают дон Сезар и его шпага!

В будке душно, пахнет копотью от свечей, тускло освещающих тетрадку, лежащую перед суфлером. Он и не заглядывает в тетрадку, он знает пьесу наизусть. Обняв девочку одной рукой, он смотрит на сцену.

Вот дон Сезар дерется на шпагах с офицером, вот Лазарильо прячется от преследователей за спиной своего неожиданного защитника. Девочка с косичками дрожит от волнения, слезы стоят в ее широко открытых глазах. Она не все понимает, но всем сердцем чувствует, как благороден дон Сезар, как храбро защищает он тех, кто нуждается в его защите. Она потрясена, когда его приговаривают к смертной казни, она готова прыгать от счастья, когда ему удастся бежать из тюрьмы.

Эта девочка, из глубины суфлерской будки смотревшая спектакль, была Машенька Ермолова, дочь младшего суфлера Малого театра.

Спектакль окончен. Огни погашены. Аплодисменты смолкли. Актеры расходятся. Вылезает из своей душевной будки Николай Алексеевич Ермолов. В огромном театральном рыдване Машенька с отцом едут домой.

---

<sup>1</sup> Дон Сезар де Базан — главное действующее лицо в переводной пьесе «Испанский дворянин».



На пустынной Театральной площади гаснут костры, подле которых грелись во время спектакля кучера и выездные лакеи в ожидании господ. Масляные лампы коптят в фонарях, тускло освещая одноэтажные деревянные дома на Петровке, едва заметные в глубине окружающих их садов. Медленно проплывают мимо окошка вековые липы, склоняя свои широкие, покрытые снегом ветви. Затейливые мостики и беседки виднеются за железными решетками садов.

От театра до дому недалеко, но Ермоловы едут долго, очень долго. Медленно плетутся лошади. Время от времени слышится щелканье кнута да однообразное попукание кучера. В карете темно. Пахнет плесенью и хлебными корками — кучер держит их про запас в боковых карманах кареты на случай, если лошади не захотят идти в гору.

Сначала развозят по домам актеров, потом служащих, живущих близко от театра. Все реже встречаются запоздалые прохожие.

Вот и Каретный ряд. Машенька с отцом теперь одни едут в огромном рыдване. Рыдван ныряет в темноте по ухабам, пассажиров трясет и качает во все стороны. Они держатся друг за друга, чтобы не упасть, кучер сердито кричит на ни в чем не повинных лошадей, ругая и проклиная их, и дорогу, и позднее время, и свою судьбу. Но вот последний отчаянный толчок — и полозья въезжают в рыхлый снег: это площадь, на которой стоит церковь Спаса с примыкающими к ней домишками. Возле одного из них останавливается театральная карета. Это домик просвирни<sup>1</sup> Воиновой, в нижнем полуподвальном этаже которого живет с семьей Николай Алексеевич Ермолов.

---

<sup>1</sup> Просвирня — женщина, занимавшаяся выпечкой просвир — белых круглых хлебцев, употреблявшихся в церковных обрядах.

В одной комнате еще горит лампа, освещая накрытый стол. Александра Ильинична ждет мужа и дочь.

В молчании проходит ужин. Каждый думает о своем. Александра Ильинична — о том, что до конца месяца еще далеко, а денег осталось очень мало и надо как-нибудь изловчиться, чтобы прокормить семью. Сегодня она ходила за крупой и за хлебом в бакалейную лавку, и ей показалось, что лавочник поздоровался с нею суше, чем обычно. Должно быть, не станет больше отпущать в долг, хотя она всегда исправно платила ему. Зима стоит холодная, в подвале сыро, дров осталось немного. У девочек сносились пальтишки, а новые... нечего и надеяться, что удастся сшить в эту зиму!

Она с беспокойством прислушивается к сухому покашливанию мужа. Прежде ему становилось хуже только весной, а теперь кашель мучит его и зимою...

А Николаю Алексеевичу сегодня вспомнилась молодость, театральное училище, школьные спектакли, в которых зачастую он был и актером, и режиссером, и автором — писал водевили и сам ставил их. Товарищи восхищались им, предрекали блестящую будущность...

Он вырос в театральной семье. Отец его, Алексей Семенович, был страстным любителем театра. В молодости он был крепостным и играл на скрипке в помещичьем оркестре, а потом в течение многих лет занимал в Малом театре скромную должность помощника гардеробмейстера. Все его шестеро детей — четыре сына и две дочери — пошли на сцену. Сестры Николай Алексеевича — Клавдия и Вера — были танцовщицами балета. Старший из братьев — Александр Ермолов-первый был принят в 30-х годах в труппу Малого театра. Он был близким другом и горячим почитателем великого Мочалова<sup>1</sup>, был неразлучен с ним в жизни, часто встре-

---

<sup>1</sup> Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — великий русский трагик, игравший в Москве в Малом театре.



чался и на сцене, исполняя небольшие роли в спектаклях с участием Мочалова, Шумского, Прова Садовского. И Петр Алексеевич Ермолов-второй был также актером Малого театра. В течение многих лет он с успехом исполнял характерные роли в пьесах Гоголя, Островского, Грибоедова, Мольера. Младший — Иван — был актером балета и преподавателем танцев в театральном училище.

Самым же одаренным из братьев считался Николай Алексеевич — Ермолов-третий. Однако после окончания училища он был выпущен не драматическим актером, а всего лишь младшим суфлером. Что было причиной этого? Ошибка? Нелепая прихоть театрального начальства? Николай Алексеевич так и не узнал и даже не пытался узнать. Осталась обида. Не сбылись мечты юности.

И вот с тех пор он сидит в своей пыльной суфлерской будке, никем не видимый, никому не известный. А как часто актеры бывают обязаны ему своим успехом! Разве не он подсказывает им не только слова, но подчас и верное толкование роли? Но они на виду, им аплодируют, ими восхищаются, а кто знает его? Кто видит его? Сам знаменитый Самарин отказывался играть с другими суфлерами. У него была дурная память, он нетвердо заучивал роли, и только необыкновенное умение Николая Алексеевича выручало его.

Иногда, правда, случалось Ермолову заменять заболевшего актера. Учить роль не нужно было — он знал любую из них наизусть! И он играл, играл с увлечением и, как многие находили, с талантом. Но актер выживал — Ермолов снимал с себя театральный костюм и, как улитка, вновь заползал в свою тесную суфлерскую раковину. И на душе у него становилось еще тяжелее, и судьба представлялась ему еще мрачнее, чем прежде.

Нет, не удалась, положительно не удалась жизнь!

Что ждет его впереди, кроме нищеты и болезни, незаметно подкравшейся и мучившей его все сильнее? На какую жизнь обречена его семья — дочери и кроткая жена, разделявшая с ним все невзгоды и безропотно сносившая все его, подчас несправедливые — он сам это признавал, — нападки и вспышки?..

Николай Алексеевич машинально доедает ужин и долго еще сидит, задумчиво выстукивая пальцами по столу какую-то мелодию.

А Машенька и не дотрагивается до ужина. Она даже не замечает, что на тарелке перед нею лежит ее любимый багдадский пирожок с малиновым вареньем, который Александра Ильинична приберегла для нее. Она вся еще полна впечатлениями театра. Ей кажется, что настоящая жизнь не здесь, в этих полутемных комнатах, а там, в залитой ярким светом сцене.

Высокий человек в изодранном плаще стоит перед ее глазами:

«Не бойся, дитя! Тебя защищают дон Сезар и его шпага!»

Тихонько, чтобы не беспокоить отца, проскальзывает она в соседнюю комнату, где спят ее сестры — семилетняя Аннета и совсем маленькая Сашенька.

— Маш, это ты? — шепчет Аннета, глядя сонными глазами на сестру. — Маш, а играть будем?

— Спи, Аннета, спи, — говорит Машенька, целуя ее, и, как взрослая, поправляет сползшее одеяло. — Завтра будем играть. Поздно уже, спать надо!

— А во что будем? Давай в смешных богачек, ладно? А в театр будем играть, да?

— Будем, конечно, будем!

Аннета блаженно улыбается и засыпает.

Машенька ложится рядом с нею, но долго не может уснуть, долго ворочается с боку на бок. Она думает об актерах.



Какое это, должно быть, счастье — играть на сцене! Картины из разных пьес проходят перед ее глазами. Вот пажи в белых трико стоят на широкой лестнице, а между ними в самом центре — высокая, нарядно одетая дама. Это артистка Надежда Михайловна Медведева. А вот в другой пьесе — названия ее Машенька не помнила — та же артистка, в белом платье, с распущенными волосами поднимается из гроба. Это было так страшно и так прекрасно! А вот молодая девушка бросается на колени, ломая руки, плача и умоляя о чем-то...

— И я буду, — шепчет Машенька засыпая, — непременно буду актрисой!

Тяжело жилось семье Ермоловых, безрадостно проходило детство Машеньки.

В подвале было сыро и всегда полутемно. Окна заливало бы водой, если бы не вырытая перед ними канавка.

Единственным развлечением были игры на маленьком заброшенном кладбище возле церкви Спаса. Оно все заросло травой, и ребята называли его просто «травкой». Садик был только при доме священника, но заходить туда строго запрещалось. И «травка», которая постороннему человеку показалась бы просто заросшим пустырем, заменяла детям сад. Там можно было собирать букеты из куриной слепоты, делать венки и браслеты из стеблей одуванчиков.

Забрав с собой кукол — Ваню и Машу, — Машенька с Аннетой играли на «травке» в свою любимую игру, которую они сами придумали. Она называлась «смешные и злые богачки» и заключалась в том, что злые богачки преследовали и мучили Ваню с Машей, а смешные богачки защищали их.

Но самое интересное — это памятники. Они могли

превращаться во что угодно: то в карету, то в волшебный замок, то в корабль с поднятыми парусами. Иногда белое привидение появлялось меж надгробных плит, но только это была не та нарядная актриса, которую Машенька видела в театре, а сама Машенька, в длинной маминой рубашке, с распущенными волосами. Ребята в ужасе разбежались, а маленькая Аннета начинала так громко рыдать, что привидение само пугалось, и обе девочки опрометью мчались к маме.

В свободное время, по вечерам, Александра Ильична читала девочкам вслух. А когда девочки подросли, они стали читать ей, пока она сидела за бесконечной починкой и штопкой. Книг у Ермоловых было мало. Покупать или брать в библиотеке — о такой роскоши нечего было и думать. Но все же иногда по воскресеньям Николай Алексеевич отправлялся на Сухаревку<sup>1</sup> и покупал старые книги. Так появились в ермоловском подвале сочинения Пушкина, Лермонтова. А однажды отец принес за целый год журнал «Детское чтение».

Но если книг было мало у Ермоловых, зато было очень много исписанных мелким почерком тетрадей. Целые кипы этих тетрадей заполняли ермоловскую квартиру. Они лежали повсюду: на столе, на сундуках, на шкафу, на старом рояле. Это были пьесы. Они-то и были любимым чтением Машеньки. Люди, близкие семье Ермоловых, не могли себе иначе представить девочку, как с неизменной тетрадкой в руках.

Иногда и отец читал девочкам вслух. Слушать его было наслаждением для Маши. Читал он так хорошо, с таким чувством, что стоило большого труда удержаться от слез. Бывало, возвратившись из театра,

---

<sup>1</sup> С у х а р е в к а — так назывался рынок на Сухаревской (ныне Колхозной) площади.

рассказывал он, весь преображаясь, об игре великих актеров — Щепкина, Шумского, Садовского. О гениальном Мочалове, игру которого посчастливилось ему видеть и которого уже не увидит Маша.

— Как солнце в небе сияет имя этого несравненного гения! — восторженно восклицал Николай Алексеевич.

Замирая от восхищения, Маша смотрела и не узнавала своего угрюмого, молчаливого отца. В такие минуты вся семья оживлялась, и в подвале становилось светлее, радостнее, наряднее.

Для Николая Алексеевича театр был самым дорогим в жизни, и эта горячая его любовь рано передалась Маше. Она не была избалована частыми посещениями театра, но те впечатления, которые она выносила после каждого спектакля, заполняли все ее мысли, все чувства.

## ЭТО НУЖНО СЫГРАТЬ СОВСЕМ НЕ ТАК!

— Я сделаю вам честь проколоть вас насквозь, потому что я дон Сезар де Базан, гранд первого класса. Я могу не снимать моей шляпы даже перед королем испанским, а я говорил с вами без шляпы!

Спектакль в разгаре. «Испанский дворянин» — Саша Наврозов, двоюродный брат Машеньки, постоянный участник и горячий поклонник ее игр. Маритана — Машенька. Лазарильо — Вера Топольская, ее подруга, которая жила на одном дворе с Ермоловыми. Суфлер — Аннета. По ходу действия она превращается то в артистку, то в зрительницу, то в башенные часы. Зрительный зал — диван. На нем важно сидит единственная постоянная зрительница — маленькая Саня, да Александра Ильинична, оторвавшись от хозяйствен-

ных хлопот, иногда забегает на несколько минут посмотреть спектакль. Декорации — стулья и табуреты, перевернутые вверх ногами, чтобы было похоже на театр. Горшки с цветами — геранью, фуксией, гвоздикой — перенесены с окон в глубь сцены. Они должны изображать роскошные сады Испании.

Дон Сезар де Базан — Саша Наврозов, — в накидке и шляпе Александры Ильиничны, бегаёт по сцене, с грохотом волоча за собой привязанную веревкой к поясу шпагу-палку. Машенька — Маритана, в длинной маминой юбке и шитой бисером кофте, одна в замке ждёт своего спасителя.

— Боже мой, — говорит она, бросаясь на колени перед образом, — уже поздно, а его все нет!

— Бом, бом, бом, бом! — голосом Аннеты бьют за сценой башенные часы.

Маритана считает удары:

— Десять! Вот уже три часа, как он ушел! Что это? Я слышу шаги! Ах, это, верно, он!

Вера Топольская — Лазарильо — со свечой, изображающей потайной фонарь, передает Саше веревочную лестницу и помогает ему бежать из тюрьмы. Благородный, храбрый дон Сезар де Базан спасает Маритану от козней врагов и сам, к великому удовольствию зрителей, избавляется от грозивших ему опасностей.

Сразу же вслед за «Испанским дворянином» был поставлен «Борис Годунов». Времени на подготовку ушло немного. Та же герань и гвоздика на этот раз изображали сад в сцене у фонтана.

Знай: отдаю торжественно я руку  
Наследнику московского престола,  
Царевичу, спасенному судьбой, —

говорила Машенька — Марина, обращаясь к Саше — Димитрию Самозванцу. Ее низкий, не детский голос



звучал так торжественно, она вся так преображалась, что Самозванец подчас заслушивался и забывал слова своей роли.

В твоих руках теперь моя судьба,  
Реши: я жду!..

— На колени! Падай на колени! Скорей! — звонким шепотом подсказывала Аннета.

Саша осторожно опустился на одно колено. На нем были новые брюки, которые он надел сегодня в первый раз.



— Реши: я жду! — повторил он и, опустив голову, закрыл лицо руками.

Однако ждать ему пришлось долго. Марина не отвечала. И вообще вокруг стало как-то подозрительно тихо. Саша поднял глаза. Сквозь полуоткрытую дверь просунулась голова, обвязанная зеленым шарфом. Это была жилища Ермоловых, фрау Мур, снимавшая у них комнатку за четыре рубля в месяц. Стоило собраться детям, как фрау Мур повязывала голову шарфом и объявляла, что у нее мигрень.

— Ах, ви опять шумель! Ви нехорошие дети! — сказала она, вздыхая и показывая свои длинные желтые зубы. — Ах, этот Санья имей такой громкий голос, как... как эриконский труб! <sup>1</sup> — выпалила она наконец.

Аннета тихонько прыснула.

— Я просиль тишина, — продолжала свои жалобы немка. — Я имей такой сильный мигрень. Ах, Санья! Когда-нибудь он будет вгонять меня в могила!

Еще раз вздохнув и трагически подняв глаза к небу, она скрылась.

Веселье было испорчено. Спектакль прервался на самом интересном месте. Аннета сердито захлопнула за жилищей дверь. Машенька, задумавшись, грустно продолжала стоять «у фонтана».

— Эриконский труб! — с негодованием повторил Саша и погрозил кулаком на дверь, за которой скрылась фрау Мур. — Держу пари, она и голоса моего не слышала.

— Это зеленые черти у нее в душе бушуют, — серьезно сказала Вера. — Знаешь что? — Она тряхнула косичками. — Пошли к нам! У нас никого дома нет. Мешать не будут.

---

<sup>1</sup> Эриконский труб (правильно: иерихонская труба). — По библейской легенде, стены древнего города Иерихона в Палестине пали от звука труб осаждавшего этот город войска.

— Вот это верно! Пошли! Сейчас, только здесь порядок наведем,— сказал Саша, быстро передвигая на прежние места мебель.— Ну, Маша, проснись! Или ты думаешь, что ты и в самом деле Марина Мнишек?

— Ты знаешь, Саша, я поняла,— сказала Машенька, задумчиво снимая шитую бисером кофту.— Это место, когда ты бросаешься передо мною на колени, нужно сыграть совсем не так...

## ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

1862 год. Хмурое осеннее утро. Моросит мелкий дождь. Машенька с отцом молча шагают по узким московским переулкам. На Маше новое платье. Пальтишко аккуратно заштопано и отглажено заботливой маминной рукой. В косички вплетены новые ленты. В белый с черными крапинками ситцевый платок увязан весь ее небольшой багаж: гребенка, кусочек мыла, любимый номер журнала «Детское чтение» и синее стеклышко, которое Аннета дала ей «на счастье» и велела беречь. Мама при расставании тоже что-то торопливо засунула в узелок. Должно быть, любимый Машин багдадский пирожок, а может быть, сладкие коричные стручки...

Как долго стояли они у дома — мама, Аннета и маленькая Саня,— всё не уходили, смотрели ей вслед! А она все оборачивалась и махала им рукой, а отец говорил: «Полно, полно, Маша!..»

Но она отгоняет от себя грустные мысли. Ведь сегодня радостный, долгожданный день — она принята в театральное училище! Исполнится ее мечта, она будет актрисой!

Они идут по тихим московским улицам, мимо крашенных деревянных домов, мимо решетчатых железных заборов, мимо садов с фруктовыми деревьями, кустами

малины и крыжовника, с дорожками и цветочными клумбами, с прудами, в которых плавают лебеди.

Как бесконечно длинен сегодня путь до Кузнецкого моста! Как медленно плетется отец.

А Николай Алексеевич взволнован не меньше дочери. Всегда он был суров с детьми, всегда требовал полного подчинения, всегда думал, что нужно воспитывать их в строгости, чтобы подготовить к жизни, полной жестоких превратностей. Он по опыту знал, как щедра бывает судьба на обиды.

И Николай Алексеевич искоса поглядывает на маленькую девочку в потертом салопчике и полинялом бархатном капоре, так бодро шагающую навстречу новой жизни. Что ждет ее впереди? Она любит театр, у нее есть способности. Но кто лучше его знает, сколько унижений, сколько душевных потрясений нужно пережить, для того чтобы пробить себе дорогу на сцену? Где еще можно встретить так много коварных интриг, зависти, тайного недоброжелательства? И все же он чувствует, он знает, что у Маши нет другого пути.

Потому-то он и решился обратиться к Самарину с просьбой взять на себя плату за учение Маши. Маленького суфлерского жалованья едва хватало, чтобы прокормить семью. И Самарин согласился помочь суфлеру, которому он был многим обязан и помощь которого была для него драгоценна. Но скольких мучительных минут стоило это Николаю Алексеевичу...

Вот наконец казенное двухэтажное здание на углу Большой Дмитровки и Кузнецкого моста. Огромного роста швейцар с рыжей бородой, в ливрее с блестящими пуговицами стоит у подъезда, встречая пришедших величественным и снисходительным взглядом. Маша поднимается по лестнице. Ноги плохо слушаются ее, колени подгибаются, по всему телу пробегает дрожь. Ей страшно, она готова бежать домой к маме, к Анне-

те... Но поздно! Николай Алексеевич открывает одну дверь, потом вторую — они в большой, светлой комнате, посредине которой стоит длинный стол, покрытый зеленой скатертью. У стола сидит маленький седенький чиновник в очках. Он что-то пишет, скрипя пером.

— Фамилия? Имя? — Чиновник смотрит на Машу поверх очков. — Ермолова Мария, — равнодушно повторяет он за Николаем Алексеевичем и ровными крупными буквами вписывает имя Маши в журнал воспитанниц.

— Свидания с родными по воскресеньям, — говорит он таким же скрипучим, как его перо, голосом. — Домой сможете брать воспитанницу только на вакации<sup>1</sup>: рождество, пасху и на лето.

Как во сне, Машенька прощается с отцом.

— Ну, дочка, — говорит Николай Алексеевич взволнованно и торжественно, — не забывай, как мы с мамашей учили тебя. Будь честной, иди всегда прямой дорогой...

Он хочет еще что-то прибавить, но голос его прерывается. Наскоро перекрестив ее, поцеловав в лоб, он быстро, не оглядываясь, уходит. Дверь захлопывается. Машенька остается одна в этом большом чужом здании, с чужими людьми.

Прощай детство, прощай родительский дом! Что-то сулит ей новая жизнь!

Московское театральное училище было основано при императорских театрах в 1808 году. Согласно приказу оно должно было заниматься «усовершенствованием российских спектаклей и балетов». Принимая воспитанниц, начальство обращало главное внимание

---

<sup>1</sup> В а к а ц и и — каникулы.

на внешность будущих актрис. Ни ум, ни способности, ни любовь к театру не имели никакого значения. Подобно тому как еще в царствование Анны Иоанновны отбирались для «комедийных действий» самые красивые девочки и мальчики, так и теперь, больше чем через сто лет, театральные чиновники старались придерживаться этого правила.

— Если девица не талантлива, то пускай будет хотя бы красива, — наказывал школьному начальству директор императорских театров Гедеонов. — На сцене, господа, нужна красивая мебель.

В этом большом сером казенном здании «красавицы» пользовались преимуществами, о которых обыкновенные девочки могли только мечтать. «Красавицы» имели право вставать позже всех, не учить уроков. Начальство смотрело на это сквозь пальцы. Никому из руководителей и в голову не приходило, что театральное училище должно развивать любовь к искусству, давать знания, воспитывать душу.

Случалось, что, проведя в этом закрытом учебном заведении десять лет, не видя, не зная действительной жизни, оторванная от семьи, воспитанница из тихой, застенчивой, скромной девочки превращалась в холодную, надменную куклу. Слоняясь по коридорам, «красавицы» вели разговоры лишь о поклонниках, о развлечениях, о платьях. Никакие другие заботы и сомнения не тревожили их.

По уставу театральному училищу полагалось иметь три класса: балетный, общеобразовательный и класс драматического искусства. Так и было в течение многих лет. Но постепенно школьное начальство все свое внимание сосредоточило на балетном классе, и ко времени поступления Маши в училище оно превратилось в балетную школу. Неспособных к танцам исключали из училища.



Общеобразовательные классы были в полном упадке. Учителя, сами имевшие весьма смутное представление о науках, которые они преподавали, разумеется, ничем не могли помочь умственному развитию своих учениц. Да и нужно ли образование «балетным»?! Начальство, по-видимому, давно решило для себя этот вопрос.

Что же касается драматического класса, то он существовал к этому времени лишь на бумаге. Вот о чем и не подозревал Николай Алексеевич, когда говорил Маше, что она будет учиться в драматическом классе и что ведет этот класс сам Иван Васильевич Самарин. На самом же деле Самарин давно забросил преподавание и передал его актеру Малого театра Колосову. Но и Колосов показывался в училище редко — раза два в месяц, и то не для занятий, а лишь тогда, когда для очередного спектакля требовались дети. Он отбирал ту или иную воспитанницу и принимался спешно готовить ее к спектаклю.

Так, в первые же дни поступления в училище Машу ожидало глубокое разочарование.

## ДВЕ ВАРИ

— «Да святится и-и-мя твое, да приидет ца-арствие твое...»

Нестройный хор детских голосов раздавался в рекреационном зале<sup>1</sup>. Маша вместе со своими сверстницами, младшими воспитанницами, стояла на коленях и пела утреннюю молитву. Она была в форменном красновато-коричневом платье с черным фартуком и белой пелеринкой, накинутой на плечи.

---

<sup>1</sup> Рекреационный зал — в средних учебных заведениях зал для отдыха и игр учащихся во время перемен.

Девочки дрожали от холода, потирали посиневшие руки: «Ах, скорей бы в столовую, хоть согреться бы горячим чаем!»

— «...и не введи нас во искуше-е-ние, но избави нас от лука-а-во-го. Аминь».

И, перегоняя друг друга, воспитанницы побежали в столовую.

— В пары, в пары! Сколько раз надо говорить! — грозно кричала классная дама Екатерина Ивановна, небольшого роста, полная, с черными усиками.

Когда Екатерина Ивановна сердилась, лицо ее становилось темно-красного цвета — недаром прозвали ее «Солониной». Впрочем, в училище было распространено мнение, что прозвище это она получила еще и потому, что маленьким приходилось солоно от ее наставлений.

В столовой уже были накрыты столы для завтрака. Двери поминутно хлопали. Одна за другой появлялись старшие ученицы — пепиньерки. Они пользовались особыми привилегиями, и даже Солонина не рисковала делать им замечания.

Стараясь не попадаться на глаза классной даме, Маша пробиралась на свое обычное место между Варей Бороздиной и Варей Кудрявцевой, или, как их называли, Варей-первой и Варей-второй. Иногда, впрочем, это место выпрашивала для себя Вера Топольская: вслед за Машей и она поступила в училище. Сидеть между двумя Варями было очень заманчиво. Можно было задумать какое-нибудь желание, и оно обязательно сбывается.

Обе Вари были закадычными подругами Машеньки. Варя Бороздина была строгая, сдержанная, с тонкими чертами лица, с гладко причесанными на прямой пробор волосами. В ее манере держаться чувствовалась смелость, которой не было у других девочек. Обо всем

она судила независимо, решительно, часто вразрез с мнением всего класса. Подруги уважали ее. С Машей больше всего сблизила ее любовь к театру. Так же как и Маша, Варя мечтала стать драматической актрисой.

Варя-вторая была совсем не похожа на Варю-первую. Это была тихая, мечтательная, очень хорошенькая девочка с нежным цветом лица и большими карими грустными глазами. Подруги любили Варю за мягкий, ласковый нрав, за доброту и отзывчивость. Фамилию Кудрявцева они тотчас же переделали в «кудрявочку», а потом стали называть ее просто «курочкой». Варя была сирота. В училище ее отдала тетка, нимало не считавшаяся с желаниями и вкусами племянницы. Варя любила музыку и с ранних лет мечтала быть пианисткой, но тетка почему-то решила сделать ее балериной.

Впрочем, отдав Варю в театральное училище, она редко вспоминала о ней.

С первого же знакомства Варя всей душой привязалась к Маше Ермоловой.

— Ох, наконец-то! — быстро зашептала Варя-вторая, когда Маша, благополучно миновав Екатерину Ивановну, уселась на свое место. — Я так боялась, что Солонина снова к тебе привяжется! Она сегодня не в духе. Смотри, какая красная.

— Да, — подтвердила Вера Топольская, энергично потряхнув головой, отчего две маленькие беленькие косички торчком поднялись кверху. — Сегодня соленые черти у нее в душе разбушевались.

Это было любимое Верино выражение, и она употребляла его кстати и некстати. То черти были зеленые, когда речь шла о фрау Мур, то соленые, когда — о Солонине.

— Маша, — таинственно прошептала Варя-первая, — значит, условились: в пять часов у комода.

Маша кивнула.

— В пять часов,— сказала она Варя-второй.

Варя-вторая кивнула.

— В пять часов у комода,— прошептала она на ухо Вере Топольской.

Вера кивнула.

В столовой стало тихо. Слышалось только постукивание кружек о столы, да изредка раздавались резкие окрики классной дамы, заставлявшие вздрагивать при-  
смиривших воспитанниц.

Вдруг оглушительный хохот пронесся по всей столовой. В дверях появилась пепиньерка — высокая красивая брюнетка. На голове ее красовался небрежно надетый лавровый венок, из-под которого выбивались пряди распущенных волос. Пелеринка наподобие плаща была лихо накинута на одно плечо.

— Смотри, твоя! — с полным ртом сказала Варя-первая и ткнула Машу локтем в бок. — Ох, ненавижу я этих пепиньерок! Злюки противные.

— На́дина! На́дина! — в восторге кричали пепиньерки.

— Ха-ха-ха, вот бы нам такую форму!

— Ой, не могу, не могу, умру от смеха! Молодец, Надина, она всегда что-нибудь смешное придумает!

Гордо подняв голову, не улыбаясь, Надина плавно прошла между столами и уселась с независимым видом.

Она долго вертела в руках булочку-розанчик, внимательно оглядела ее со всех сторон и положила на стол. Она была недовольна. Грозный взгляд ее искал кого-то среди младших. Пепиньерки замерли в восторге. Сейчас начнется расправа.

— Маша, прячься скорей, полезай под стол! — шепнула Варя-вторая.

Но было уже поздно. Серые глаза Надины остановились на Маше.

Маша покраснела. Булка застряла у нее в горле; она

поставила кружку с чаем на стол. Надина любила, чтобы розанчики были поджаристые, и Маше вменялось в обязанность поджаривать их для нее по утрам.

У каждой младшей воспитанницы была своя мучительница-пепиньерка, которая репетировала с нею балетные экзерсисы. Пепиньерки широко пользовались своими правами над подвластными им «маленькими».

Маша всегда исправно выполняла свои обязанности. В сущности, Надина была не так уж плоха, даже добрее многих других пепиньерок, от которых младшим доставалось подчас еще больше, чем от классных дам.

— Ну-с, это что значит? — грозно сказала Надина, когда Маша подошла к ней и остановилась, в смущении теребя фартук.

— Я тебя спрашиваю, что это значит? — повторила Надина, тыча розанчиком Маше прямо в лицо.

— Извините, мадемуазель Надина, я не успела... — тихо сказала Маша.

— «Не успела»! Вы слышите, девицы? Она не успела! Чем же это ты, интересно узнать, была занята? Быть может, так усердно к танцевальным классам готовилась? Сейчас посмотрим, каковы твои успехи со вчерашнего дня!

— Да, посмотрим! — сказала другая пепиньерка, приятельница Надины, тоненькая блондинка с падавшими на лоб завитушками золотистых волос.

— А ну, пойдем, моя милая!

Надина схватила за руку Машу и поставила в угол, к окну. Пепиньерки с визгом последовали за ними и окружили их тесным кольцом.

— Подними ногу! — грозно сказала Надина. — Вытяни подъем, покажи шаг! И, пожалуйста, не строить грустных физиономий! Подумаешь, мечтательница нашлась!

— Вот все они так, жертву из себя строят! — быстро



затараторила пепиньерка с завитушками. — Вы должны слушаться нас, — назидательно прибавила она, — потому что мы школьные ве-те-ри-нары. Сам Гедеонов сказал...

Она хотела еще что-то прибавить, но Надина смерила ее презрительным взглядом и процедила сквозь зубы:

— Не ветеринары, а ве-те-ра-ны.

— А по-моему, ветеринары! — упрямо повторила пепиньерка, но все же замолчала и с обиженным видом отошла от Надины.

— В следующий раз высеку, а теперь можешь быть свободной, — сказала Надина и, подняв руку, царственным жестом указала куда-то вдаль, как сказочная принцесса из балета «Дочь фараона», в котором, впрочем, сама Надина танцевала в глубине сцены, «у воды».

Старшие были разочарованы и недовольны: не того ожидали они от своей изобретательной подруги. Но Надина передумала. Пепиньерка с завитушками испортила ей настроение, и у нее пропала всякая охота возиться с Машей. Она зевнула, со скучающим видом поправила лавровый венок на голове и уселась за стол. Громкий звонок возвестил конец завтрака. В девять часов начинались танцевальные классы.

## БАЛЕТНАЯ МУКА

— Раз, два, три! Раз, два, три! Не так! Сначала! Первая позиция — ступни вывернуты, пятки сомкнуты! Раз, два, три! Ронд де жамб партер! Так, так! Не сгибайте колени, головы выше! Мадемуазель Грамзина, не держите руки самоваром!

Младшие танцевальные классы вел балетмейстер Манохин. Это был строгий и требовательный преподаватель. Однако строгость у него часто переходила в от-

кровенную грубость, а порою в самодурство. У него были свои любимицы, которым он прощал все. Зато уж, если он невзлюбил воспитанницу, издевательствам и злым шуткам не было конца.

Занятия проходили в большом зале с покатым полом и высокими зеркалами. Вдоль стен были укреплены длинные деревянные брусы. Держась за них, воспитанницы проделывали балетные упражнения. Это так и называлось — танцевать «у бруса», или «у станка».

С первого же дня Маша возненавидела эти уроки. У нее не было никаких способностей к балету, она сама это ясно сознавала. Не было той ловкости, той быстроты и плавности движений, которые многим так легко давались, например Маше Никитиной, или Аннете Грамзиной, или Любе Красовской. Но ведь она никогда и не хотела быть балериной. Она мечтала о драматической сцене, а вместо этого ее заставляют каждое утро становиться у станка и терпеть «балетную муку».

С длинной тростью Манохин носился по залу, подбегая то к одной воспитаннице, то к другой, поворачивая их за руки и за плечи то направо, то налево. Иногда он останавливался и, топая ногою, отбивал такт. У него было прозвище «Бог-мартышка», очень странное, но почему-то подходившее к нему. Его острые серые глазки быстро перебегали с одной пары ног на другую. Заметив ошибку, он тростью ударял по ноге, и недаром воспитанницы на собственном опыте испытали, что он так же «тяжел на руку», как «легок на ногу».

— Раз, два, три! Батман девелопэ! Никуда не годится! Сначала! Поднимите голову, разверните грудь, опустите плечи, руки свободно уроните вниз! Так, так, хорошо, мадемуазель Никитина! Корпус прямее, голову выше, мадемуазель Смирнова!

Держась за брус, Маша старательно проделыва-

ла ненавистные экзерсисы. Однако ноги плохо слушались, движения выходили неловкие, она запаздывала, не попадала в такт. Большой батман, малый батман еще кое-как получались, но батман девелопэ — с этим ей было никак не справиться.

Ах, только бы не попасться на глаза мосье Манохину! Но не тут-то было! Не так легко было скрыть что-нибудь от маленьких острых глазок Бога-мартышки.

— Мадемуазель Ермолова! — Легкий прыжок — и Манохин был рядом с Машей. — Раз, два, три! — Длинные пальцы четко отбивали такт по ее плечу. — Ну как вы стоите! Как вы стоите! Подтяните живот, грудь вперед, голову прямо! Что вы торчите, как... чугунная печка! Убрать сейчас же эту кочергу! — И он больно хлопнул Машу тростью по ноге.

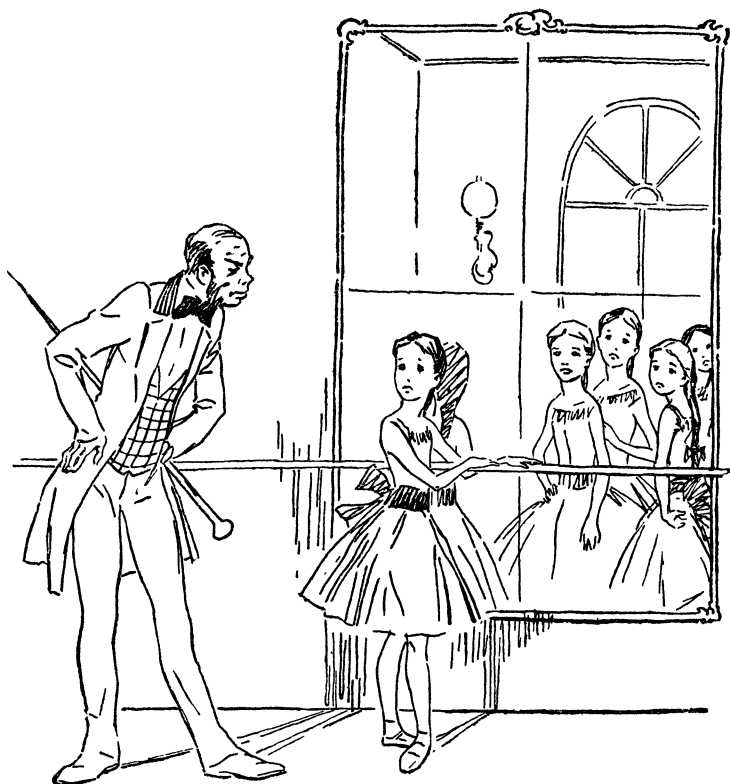
Манохин был мастер придумывать сравнения. Чего только не приходило ему в голову! Прошло немало времени, пока воспитанницы привыкли и научились понимать его язык. Но теперь они уже твердо знали, что нога — это «кочерга», руки — «грабли», голова — «колпак», и порой даже забывали, что слова эти имеют совсем другое значение.

Много забавных историй случалось на уроках Манохина. Однажды во время занятий в зале топилась печка. Уголья давно уже истлели, но никто из нянюшек не явился, чтобы закрыть трубу. Про печку забыли. Длинная кочерга сиротливо стояла в углу.

— Мадемуазель Кудрявцева, — обратился вдруг Манохин к стоявшей в аттитюде Варе, — возьмите кочергу и закройте трубу.

Варя испуганно посмотрела на Бога-мартышку, но не двинулась с места.

— Мадемуазель Кудрявцева, что я вам сказал! — закричал Манохин: он не любил два раза повторять приказания.



Но бедная Курочка только как-то неестественно изогнулась, для чего-то сначала в нерешительности опустила ногу, потом снова подняла ее и продолжала стоять в той же позе.

Напрасно девочки показывали ей на длинную кочегру: Варя знала, что «кочерга» — это нога, но что означало «закреть трубу», этого она никак понять не могла. Сам Манохин в конце концов растерялся и про- бормотал, пожимая плечами:

— Что с нею? Она помешалась? Мадемуазель Красовская, закройте трубу.

Таков был грозный Бог-мартышка, и воспитанницы боялись его больше всех других преподавателей.

— Танцовщица должна быть воздушна, а вы... вы, как утка, топчетесь! — визгливым голосом кричал он над самым Машиным ухом. — Сначала! Раз, два, три! Как вы делаете девелопэ! Боже мой, мадемуазель Никитина, покажите ей, что такое девелопэ! Звуки должны вылетать из ваших ног! — яростно стуча тростью об пол, кричал Манохин. — Ваши движения должны быть мягки, грациозны, а вы? Вы торчите здесь, как дерево, как неотесанное бревно!

Держась за брус, как за якорь спасения, Маша изо всех сил старалась выделять мудреные балетные па.

Но учитель не унимался. Он давно невзлюбил Машу.

— Опять эта кислая физиономия! Так-то вы будете пленять зрителей, мадемуазель Ермолова! Воображаю, в каком восторге они будут! — И Манохин закатывал глаза и гримасничал, передразнивая Машу. — Ваше лицо должно изображать удовольствие, радость, нежность, любезность!

Подняв на учителя испуганные глаза, Маша старалась выразить «удовольствие, радость и любезность».

Наконец прозвенел звонок.

— Чтобы к завтрашнему дню знать все основные позиции: ассамбле, жетэ, купэ, плие, деми-плие, томбэ, сотэ. Если не будете знать, — Манохин стукнул тростью об пол, — из училища вышвырну! В театр бутафорию делать пошло! — И, обведя воспитанниц грозным взглядом, он легким прыжком выбежал из зала.

Первая очнулась Вера Топольская. Придерживая обеими руками уголки фартука, она сделала глубокий реверанс по направлению к двери и визгливо прокричала, подражая Манохину:

— Ассамбле, жетэ, сотэ! Ох, спасите, балетные чер-



ти в его душе разбушевались! Вот честное слово! — прибавила она и перекрестилась.

— Опять черти!

— Вечно ты, Топольская, со своими чертями!

— Тише ты, Вера! — сказала Варя-вторая. — Надо Машу выручать. Бог-мартышка ее со свету сживет. Придумайте что-нибудь, девочки, милые!

— Пусть Варя-первая придумает, она у нас самая умная, — серьезно сказала Топольская и, видя, что Варя молчит задумавшись, она прокричала ей прямо в ухо: — Ва-а-ря, проснись! Машу выручать надо.

— Молчите, девочки! Разве вы не видите, что ей дурно! — сказала Варя-первая и бросилась к Маше.

Прислонившись к стене, с побелевшим лицом, Маша давно уже не слышала, о чем говорят и спорят подруги.

— Маша, Маша, да очнись же, Машенька! — в отчаянии кричала над самым ее ухом Варя-вторая. — Девочки, да что же это, она умирает, боже мой!

Маша хотела ответить, но только шевелила губами, а слов почему-то не было слышно. Варин голос долетал до нее откуда-то издалека.

«Да куда же это я? Мне надо вернуться», — подумала Маша и открыла глаза.

Она увидела склонившиеся над нею бледные, испуганные лица подруг. Она уже не стояла у стены, как прежде, а лежала на скамейке.

— Да я ничего, девочки... — пробормотала она. — Просто голова закружилась.

— Да, «просто»! — сказала Вера. — Если бы не Варя-первая, ты бы как раз голову о брус расшибла. Это она тебя подхватила.

— Что же теперь делать? — растерянно говорила Варя-вторая и гладила Машу по голове. — Она заболела...

— Девочки, да это чудесно! Все прекрасно устроится! — радостно воскликнула вдруг Варя-первая.

Подруги удивленно посмотрели на нее.

— Ох, спасите! — Вера схватилась за голову. — Теперь эта помешалась! Ну и денек сегодня!

— Да нет же, слушайте. Надо бежать к Солонине и сказать, что Маша очень больна. Доктор продержит ее два дня в лазарете, а тем временем Манохин о ней забудет.

— Вот это верно!

— Браво, Бороздина!

— Кто говорил, что она у нас самая умная! — сказала Вера, одобрительно хлопая Варю по плечу. — Подождите, подождите, — прибавила она, вспоминая, — а как же репетиция? Ведь у нас сегодня в пять часов репетиция у комода! Я уже юбку у Степаниды взяла, и кофту с буфами, и платок шелковый, яркий-яркий!

Девочки притихли.

— Ведь и правда! Как же без Маши? — раздался чей-то огорченный голос.

Все взгляды обратились к Варе-первой.

Варя задумалась на секунду, как бы колеблясь, потом сказала решительно:

— Репетиция отменяется!

## У КОМОДА

Что же это были за репетиции у комода? Все те же игры в театр, которые Маша завела и в школе! Они были единственным развлечением в серой, однообразной школьной жизни, единственным отдыхом от ежедневной балетной муки, придирок классных дам и пепиньерок. Игры заменяли ей все: и дом, по которому она тосковала, и театр, в котором она бывала так редко.



Вначале, когда Маша еще дичилась подруг, в играх этих принимали участие лишь несколько девочек, с которыми она сблизилась с первых дней поступления в училище: Варя Бороздина, Варя Кудрявцева, Катя Семенова и давнишняя участница Машиных игр — Вера Топольская. Но постепенно круг юных актрис все увеличивался, и наконец составила уже целая «труппа», во главе с Машей Ермоловой и Варей Бороздиной.

Место первой актрисы было признано за Машей. Состязаться с нею никто даже не пытался. Самые ярые «балетные», с презрением относившиеся к драматическому искусству, заслушивались ее чтением и увлекались ее игрою. Число поклонниц росло с каждым днем. В свободное от занятий время девочки собирались в отдаленном углу дортуара<sup>1</sup>, у комода — это было наиболее

---

<sup>1</sup> Дортуа́р (франц.) — общая спальня.

безопасное место, — и разыгрывали самые отчаянные драмы, какие им когда-либо довелось видеть или читать. Перевернутые парты, столы и табуреты служили декорациями. Что же касается театральных костюмов, то их поставляла лазаретная нянька Степанида, охотно предоставляя в распоряжение труппы все свои юбки и кофты. А если их не хватало, она выпрашивала у других нянюшек.

Толстая, добродушная Степанида была любительницей театра, и именно драматического театра. К балету она относилась с недоверием и считала, что «только зря детей выламывают». Ее мать служила у «самого» Мочалова, и рассказов о нем хватило на всю Степанидину жизнь. Часто в свободные часы Маша забиралась в ее крохотную чистенькую каморку при лазарете и с наслаждением слушала бесконечные рассказы.

Горячая Машина поклонница и покровительница игр у комода, Степанида очень гордилась тем, что для нее всегда оставалось самое почетное место в первом ряду. Она любила повторять, что ей обязательно надо сидеть близко, чтобы видеть глаза актера.

— У них вся сила в глазах, — таинственно объясняла она. — Бывало, Павел Степаныч, царство небесное, как уставит глаза — мы с мамашей из оркестра все пиэсы смотрели, — так у меня все внутри и перевернется. Лихорадка все тело бьет! Вот и Маша ведь когда играет, у нее глаза какие-то особенные делаются: как будто глядят на тебя, а совсем другое видят.

Прошло несколько месяцев после поступления в училище, и к балетной муке прибавились новые огорчения. Воспитанниц начали вывозить по вечерам в Большой театр, где они танцевали в кордебалете в глубине сцены — это называлось «у воды» — или изображали в опере бессловесных пажей. Трико и куртка пажа не шли к угловатой Машиной фигурке, делали ее

неуклюжей, а грустное бледное лицо так плохо сочеталось с застывшей балетной улыбкой, что Маша с трудом удерживалась от слез, глядя на себя в зеркало.

Изредка воспитанниц возили и в Малый театр. Эти дни были праздником для Маши! Она наслаждалась игрой Самарина, Шумского, Федотовой и своей любимой актрисы Надежды Михайловны Медведевой. А после театра в ролях Медведевой у комода выступала сама Маша, в Степанидиной юбке или длинной ночной рубашке, и юные зрители восхищались ее игрой не меньше, чем взрослые — игрой самой Медведевой. Нужды нет, что слова роли были совсем другие и что тут же, по ходу действия, они подчас придумывались самой артисткой.

## ЛАЗАРЕТ

Старичок итальянец доктор Марокетти велел Маше показать язык и одобрительно кивнул.

— Кароший, совсем кароший язык! — ласково сказал он и большими буквами прописал рецепт: «Бульон с булком».

В палате, или попросту в маленькой комнатке, куда привели Машу, лежало несколько девочек, ее одноклассниц: Катя Семенова, Аннета Аристова, Липа Курнакова, Матреша Смирнова.

Катя Семенова очень обрадовалась Маше: она уже две недели была больна и теперь только начинала поправляться от жестокой простуды. Катя была худенькая, бледная, и старый доктор не спешил выписывать ее из лазарета. Она закидала Машу вопросами о школьных делах, о подругах, о Солонине, о спектаклях у комода.

— Маш, не огорчайся, — утешала она Машу, выслу-

шав рассказ о ее бедах. — Ну кто не знает Бога-мартышку! Его даже в театре терпеть не могут, честное слово! Моя мама говорит: «Невыносимый характер!» Он и к настоящим балеринам придирается, не то что к нам. Ничего не поделаешь, приходится терпеть... — Катя сокрушенно покачала головой. — Мама рассказывала, что в Петербурге, когда она в театральном училище училась, еще труднее приходилось воспитанницам. Она меня жалеет, но говорит: «Другого выхода нет».

Мать Кати, Екатерина Александровна Семенова, была известной оперной певицей. Она училась и начинала свою артистическую деятельность в Петербурге, а потом перевелась в Москву, в Большой театр. Впрочем, связи с Петербургом она не порывала и очень часто ездила туда на гастроли.

Катя горячо любила мать, страдала от разлуки с нею и сердилась на Петербург: мамины петербургские гастроли часто совпадали с вакациями. Очень грустно было оставаться в училище и провожать разъезжавшихся по домам счастливых подруг. Иногда по просьбе Екатерины Александровны девочку брала к себе на вакации Надежда Михайловна Медведева, дальняя родственница Семеновых.

Кате хотелось во всем походить на мать. Она мечтала стать певицей, хотя голосок у нее был слабый и мама говорила, что вряд ли он разовьется. Она сочиняла стихи и постоянно распевала их на разные мотивы. Как и Маше, ей тяжело давалась балетная премудрость, но Бог-мартышка побаивался Катиной мамы, и ей сходило с рук многое, за что попадало другим.

— Ты здесь поживешь немного и отдохнешь. Здесь хорошо, только скучно, правда. Доктор у нас такой душ-ка! Покажи-ка, что он тебе прописал? Вот видишь — «бульон с булком», это очень хорошо. А у меня «макарони», а у Липы Курнаковой живот болит — у нее напи-

сано «брюкки», это уже похуже. Отгадай, что это значит? Это значит — брюквенное пюре!

Дверь в палату широко распахнулась, и на пороге с большим подносом в руках появилась Степанида.

— Ура! Обед! — закричали девочки.

— Ну-ка, девочки, нашу лазаретную! Аристова, запевай! — И Катя принялась дирижировать.

Доктор Марокетти,  
Старенький, седой,  
Все болезни в свете  
Лечит он едой!

Мы будем кушать брюкки,  
Когда болит живот,  
А от балетной мўки  
Излечит нас компот!

В нашем лазарете  
Не о чем тужить.  
Доктор Марокетти  
Знает, как лечить!

— Тише вы, егозы! — сказала Степанида, ставя на стол поднос и затыкая уши. — Ну, кто тут у вас новенькая? Никак, Маша? Небось опять налетел, идол проклятый! Ох, будь моя воля, показала бы я ему, как детей выламывать! Руки, ноги повывернет, и все ему мало, прости господи! И чего он к тебе-то пуще всех привязался?

— Не знаю, Степанидушка, — грустно сказала Маша. — Наверное, оттого, что я нескладная.

— Нескладная! Пусть он посмотрит сначала, как ты в пиэсах играешь!

При этих словах девочки невольно боязливо покосились на дверь.

— Головушки мои бедные! — жалостно воскликнула Степанида. — Точно вину какую скрывают! А мо-



жет, посмотрела бы инспектриса, как вы пиэсы разыгрываете, так и похвалила бы.

— Что ты, Степанидушка! Так она и похвалит!

— А я так заслушалась, как вы представляете... Больно хорошо выходит. Особенно Маша. «Дай, говорит, поглядеть на тебя в последний раз!» Меня так на этом месте в слезы и бросило!

— Степанидушка, голубушка, душенька! — Маша крепко обняла Степаниду и стала покрывать поцелуями ее толстые щеки.

— Ох, задушила совсем! — отбиваясь, говорила довольная Степанида. — Ну, ешь-ка свой бульон, так-то лучше будет. Ишь, заморили, изверги!

## НЕВОЗМОЖНЫЙ ПАЖ

С толстым журналом под мышкой учитель географии вошел в класс и, кряхтя, уселся за стол. Это был высокий человек с рыжеватой бородой и красным носом. Его звали Владимир Николаевич Новиков или попросту Володя. Раскрыв журнал, он долго водил пальцем сверху вниз по странице. Окончив осмотр журнала, он вытаскивал из кармана все свое имущество: портсигар, потрепанную записную книжку, носовой платок и, наконец, большую гребенку. Ею он любил расчесывать на уроке свою всклокоченную бороду.

— Итак, — басом сказал Володя, — в прошлый раз мы остановились... На чем, бишь, мы остановились?

— На Южной Америке, — подсказала сидевшая на второй парте Вера Топольская.

— На Южной Америке? — почему-то удивился Володя. — Да, совершенно верно-с... Итак, в густых, непроходимых лесах Южной Америки...

Никто не слушал Володю. Одни играли в фантики,

другие читали, третьи писали письма родным. Люба Красовская, тоненькая блондинка с капризным лицом, рассказывала своим соседкам интересный сон:

— Вдруг вижу я, будто я в лесу, только будто лес этот в комнате, и на деревьях змеи громадные...

— Госпожа Красовская, — расчесывая бороду, прервал ее Володя, — что вы знаете о Южной Америке?

Люба встала и с возмущением повела плечами.

— Южная Америка... Южная Америка отличается от Северной... Я не могла приготовить урока, Владимир Николаевич, у нас была репетиция к новому балету.

— Но позвольте, — сказал Володя, — ведь мы еще в прошлую пятницу начали проходить Южную Америку!

— И в пятницу была репетиция, — нимало не смущаясь, ответила Люба.

— Та-ак-с! — мрачно сказал Володя. — Садитесь, госпожа Красовская.

Люба опустила на скамейку и как ни в чем не бывало продолжала свой рассказ:

— И вот, иду я по этому лесу, который в комнате, а на деревьях уже не змеи, а Бог-мартышка... так с ветки на ветку и прыгает...

Слушавшие громко расхохотались. Это было и в самом деле очень смешно. Маша представила себе Манохина с длинным хвостом, с серой обезьяньей мордочкой, во фраке, прыгающим с дерева на дерево и кричащим: «Сотэ жетэ, эшапэ!»

— Тише, господа, тише-с! — рассердился Володя. — Что касается животного мира Южной Америки, — снова начал он свои длинные объяснения, — то там водятся особые породы обезьян, а также хищники: ягуары, тигры. По ночам они бродят в степях, а днем прячутся в огромных сталактитовых пещерах...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Сталактиты — известковые образования, свешивающиеся в виде сосул с потолка пещеры.

— Владимир Николаевич, а что такое сталактитовые пещеры? — звонко спросила Вера Топольская.

— Сталактитовые пещеры?..— Володя задумался на мгновение.— Это такие большие пещеры... которые...

Маша даже вздрогнула от неожиданности. Как раз недавно она прочитала очень интересную книжку, герой которой во время одного из своих приключений попадает в сталактитовую пещеру. Пещера эта подробно описывалась в книжке. Но возражать Володе Маша не стала, тем более что «балетные» слушали его без малейшего удивления. География, равно как и другие науки, мало интересовала их.

Урок кончился. Сунув под мышку журнал и звонко высморкавшись, Володя зашагал из класса.

— Наконец-то! — облегченно вздохнула Маша и стремглав помчалась к швейцару Ефиму.— Ефим, миленький, скоро поедет? Скоро кареты подадут?

— А ты что, в Большой так торопишься? — хитро сощурившись, спросил Ефим, тот самый огромный рыжий швейцар, который напугал Машу в день ее поступления в училище. Теперь он был с нею в большой дружбе.

— Да ведь мы сегодня не в Большой. Мы в Малом заняты! Ефим, ну скажи, скоро?

— Ах, в Малом? — притворно удивился Ефим, хотя прекрасно знал, куда должны ехать воспитанницы.— Раньше времени не подадут, а придет время — подадут. Ну, иди, пичуга! — прибавил он, добродушно хлопнув Машу по плечу.— Приготовляйся, скоро поедешь: запрягать пошли.

«Пичугами» Ефим называл младших воспитанниц в отличие от старших — «мамзелей».

Маша была готова раньше всех и первая вскочила в карету. Солонина, следившая за порядком, собралась было уже сделать ей замечание, но не успела. Вслед за Машей погрузилась вся ее «свита»: Топольская, обе

Вари, Семенова и другие. Им предстояло сегодня двойное развлечение — театр, а после театра, разумеется, представление у комода.

В этот вечер в Малом театре давали драму «Замок Кавальканти». Главную роль — Джованни — исполняла Надежда Михайловна Медведева. Высокая, красивая, в белом подвенечном наряде, шла она по широкой, устланной коврами лестнице, по обеим сторонам которой стояли пажи, высоко подняв канделябры.

Маша была в правой шеренге. Позабыв обо всем на свете, смотрела она на благородную и несчастную Джованну. Как ей хотелось спасти ее! Доказать ее невиновность! Открыть, кто ее друзья, кто враги!

В антракте за кулисами воспитанницы жались друг к другу, кутаясь в платки. Как здесь все знакомо было Маше! Сколько раз пробиралась она с отцом в его будку по огромной, холодной, полутемной сцене, спотыкаясь об эти канаты, краны, балки! Даже запах масляных ламп и копоти был для нее мил, как будто с ним было нераздельно связано что-то родное, от чего начинало больно и в то же время сладко щемить сердце.

То здесь, то там группами стояли актеры. Маша многих знала в лицо. Вот комик Живокини Василий Игнатьевич, немного сутулый, полный, с широким красным лицом, толстыми губами и красно-сизым, похожим на луковицу носом. Добрые карие глаза смотрели ласково, и добродушная улыбка каким-то особым светом озаряла его смешное лицо. Это был любимец публики. Стоило ему появиться на сцене, как в зале раздавался хохот, хотя он еще не успевал произнести ни одного слова. Актеры также любили его. Маша много слышала от отца о его доброте, отзывчивости; о том, что он никогда не зазнавался, в противоположность другим знаменитым актерам; о том, как он остроумен и весел. В дни его юности кто-то из товарищей сложил о нем

песенку, и Живокини нисколько не сердился, когда при нем распевали ее:

Кто это с парой толстых губ  
И вроде глупого разини?  
Наш комик Вася Живокини,  
Отличный малый: добр, не скуп  
И сколько весел, столь же глуп...

Живокини о чем-то рассказывал актерам Колосову и Решимову, а те весело смеялись.

Немного поодаль от этой группы — у Маши дух захватило! — в небрежной позе стоял сам Иван Васильевич Самарин. На нем был элегантный горохового цвета костюм, крахмальный воротничок подпирал полные, немного обрюзгшие щеки. По его холеному лицу с высоким покатым лбом и большими умными глазами было видно, что в молодости он был необыкновенно красив.

Самарин вполголоса разговаривал с актером Лавровым. Маша невольно подалась вперед, отделилась от подруг и, наклонив по своей привычке голову набок, как зачарованная смотрела на Самарина. Костюм, доставшийся ей сегодня, был особенно неудобен: узок в плечах, с короткими рукавами. Руки болтались, как чужие, и надо было все время думать о том, куда их девать. На бледном лице выступали яркие пятна грима, небрежно наложенного театральным парикмахером.

Так прошло несколько минут. Самарин вдруг обернулся и рассеянно посмотрел на Машу.

— Кто это? — спросил он Лаврова.

— Воспитанница Ермолова, — ответил за Лаврова Колосов. Он помнил Машу по своим, хоть и редким, посещениям училища.

Маша не в силах была пошевелиться: «Заметил! Что это значит, боже мой!»

— Александр Федорович, уберите вы этого невозможного пажа, — обратился Самарин к проходившему в

эту минуту режиссеру Богданову и кивком указал на Машу.

Режиссер почтительно поклонился. Противоречить Самарину никто в театре не осмеливался.

Как во сне, Маша присоединилась к подругам; как во сне, смотрела продолжение спектакля. Она слышала голос Медведевой, но не понимала ни одного слова. Чувство горькой обиды наполнило ее всю. Неужели она была так безобразна? Безобразнее всех? Вот ведь Надя Лукьянова не красива, а ничего, танцует, и никто не гонит ее. А она, Маша, со своими мечтами о сцене не может сыграть даже роль бессловесного пажа!

Все давно уже спали — и соседка Маши справа Варя-первая, и соседка слева Варя-вторая, — а Маша горько рыдала, уткнувшись в подушку.

## ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

Прошло три года. Девочки подросли. Они были теперь в среднем классе, и им разрешалось укладывать косы вокруг головы и ложиться спать часом позже. Школа помещалась теперь уже не на Большой Дмитровке, а на углу Софийки и Неглинной. Это было очень близко от Малого театра, а между тем никогда еще он не был так далек от Маши! С того памятного вечера, когда Самарин приказал убрать «невозможного пажа», она больше не появлялась на сцене. С завистью смотрела она на подруг, за которыми время от времени присылала дирекция Малого театра, а костюм пажа уже не казался ей таким неудобным. Зато в Большом театре



она бывала гораздо чаще, чем ей хотелось: то приходилось танцевать «у воды» в балете «Саламандра», то одну из двенадцати рек в балете «Дочь фараона».

Новое здание школы было просторнее и удобнее старого. Во дворе был разбит садик, где воспитанницам разрешалось гулять в свободное от занятий время. Окна, выходявшие на Софийку, приходились как раз напротив «Французской гостиницы», и начальство приказало замазать стекла белой краской, чтобы пепиньерки не переглядывались со своими поклонниками.

У подъезда по-прежнему сидел швейцар Ефим и, должно быть, так же пугал своей наружностью новеньких, как когда-то напугал Машу. По-прежнему Маше приходилось сносить нападки Бога-мартышки и Солонины. По-прежнему с нетерпением ждала она от воскресенья до воскресенья той радостной минуты, когда ее позовут в зал для свидания с родными. А там уже ее дожидалась Александра Ильинична в черной кружевной шали, с неизменным узелком в руках. Маша заранее знала — в нем яблоко, пряник, несколько конфеток и сдобная булочка.

Маша шепотом делилась с мамой своими горестями и обидами. Обо всем хотелось ей успеть рассказать: о несбывшихся надеждах, о неинтересной школьной жизни, о придирках начальства, классных дам, пепиньерок.

— Нет, не могу, не могу больше, — иногда в отчаянии шептала Маша, — уйду из школы!

Александра Ильинична растерянно гладила ее по голове и прижимала к себе, тщетно пытаясь утешить.

Быстро проходил короткий час свидания. Александра Ильинична торопливо вскакивала и, смущенно сунув Маше в руки узелок, шептала, показывая глазами на классную даму:

— А ты дай ей конфеток, может, она подороже будет.

Крепко обняв на прощание дочь, она уходила. Кончался праздник, и снова начинались бесконечные, похожие один на другой дни недели.

Только одно за это время изменилось к лучшему — в школе появился новый учитель русской словесности Александр Львович Данилов. Это был уже немолодой человек с добродушным лицом и рассеянным взглядом светло-голубых близоруких глаз. С первых же уроков Маша поняла, что он совсем не похож на других учителей не только потому, что он знал и любил литературу, но и потому, что непременно желал передать ученицам свои знания. С каждым уроком он незаметно вытягивал их в серьезную умственную работу, развивал в них способность внимательно читать и излагать прочитанное. В свою очередь, и новый преподаватель сразу выделил Машу среди других воспитанниц. Эта девочка со строгим выражением лица, с умными не по возрасту глазами глубоко заинтересовала его. Он был тронут, видя, как во время уроков она не спускала с него глаз, боясь упустить хоть слово. Если какая-нибудь подруга отвлекала ее внимание, она, не оборачиваясь, отводила ее рукой, тихо отодвигалась и все так же сосредоточенно продолжала слушать.

Узнав о ее страсти к чтению, Данилов начал носить ей книги — все, что было в школьной библиотеке, Маша давно прочла. Однако его собственных книг хватило ненадолго. Тогда он стал их доставать в других библиотеках, приносил ей журналы — «Отечественные записки», «Современник», издававшийся тогда Некрасовым.

Гончаров, Тургенев, Чернышевский печатались на страницах этих журналов. Новый мир открывался перед Машей, мир, скрытый от нее высокими стенами училища. Она читала наизусть стихи Некрасова, а подруги — первые ценительницы ее таланта — слушали и восхищались.



## «ТЕАТР — ОТЕЦ, ТЕАТР — МНЕ МАТЬ...»

У комода шла трагедия Шиллера «Мария Стюарт».

Маша в черной Степанидиной юбке и черной кружевной шали, которую Степанида надевала только по праздникам в церковь, играла роль несчастной шотландской королевы. Она была так увлечена, глубокий грудной голос ее звучал так задушевно, что девочки слушали потрясенные.

Катя Семенова, стоявшая на страже у дверей — эта обязанность выполнялась воспитанницами по очереди, — подвигалась все ближе и ближе к комоду и даже стала на табурет, чтобы лучше видеть. Девочки тесным кольцом окружили «сцену» и стояли тихо-тихо, затаив дыхание.

На плахе всенародно опозорить  
Дерзнула бы она мое чело  
Венчанное? —

спрашивала Маша.

Дерзнет. Не сомневайтесь! —

отвечала Вера Топольская — Мортимер.

Величие державное она  
Так уронить решилась бы? А месть —  
Месь Франции?

Но Мортимер так и не успел ответить своей королеве, потому что Катя Семенова вдруг слабо вскрикнула и спрыгнула с табурета.

В дортуаре, опершись на спинку одной из кроватей, стояла сама инспектриса Зинаида Михайловна Никольская и внимательно смотрела на сцену. На Катин крик она не обратила никакого внимания.

Перепуганные, позабыв даже поздороваться с инспектрисой, девочки стали разбегаться, спотыкаясь и толкая друг друга.

Актеры замерли на полуслове, оставшись в тех же позах, как будто мгновенно погрузились в заколдованный сон. Инспектриса стояла на прежнем месте. Когда наконец последняя воспитанница добежала до своей кровати, она спокойно сказала, обратившись к актерам:

— Ну, теперь продолжайте!

Зинаида Михайловна была высокая, полная, еще нестарая женщина с седыми, гладко причесанными волосами. Она была самая добрая из всего школьного начальства, и воспитанницы любили ее.

— Продолжайте! — повторила Зинаида Михайловна и дружелюбно кивнула все еще не вышедшим из оцепенения актерам.

Первой очнулась Варя Бороздина, игравшая кормилицу королевы, Анну Кеннеди. Она засуетилась, зачем-то поправила декорации — одеяла, лежавшие на перевернутых столах, — шепнула что-то на ухо Маше, и спектакль продолжался. Актеры вновь вошли в роли, сперва робко, потом все увереннее и наконец вовсе забыли о присутствии инспектрисы. Осмелевшие зрители, оставив свои убежища — кровати, снова стали подвигаться ближе к комоду.

Шла сцена прощания Марии Стюарт со своими прислужницами.

О чем скорбите вы? Из-за чего  
Вы плачете? Вам радоваться б надо,  
Что к цели мук моих я приближаюсь,  
Что узы разрешаются мои,  
Темница раскрывается — и в славе  
На ангельских крылах к свободе вечной  
Возносится душа...

Откинув с лица черную кружевную шаль, Маша стояла в кругу девочек, опустившихся перед нею на колени. Вся фигура ее дышала гордостью и величием, словно перед зрителями и в самом деле была маленькая королева.

Прощайте все! Прощайте навсегда!

Такая скорбь, такое сознание своей правоты и вместе с тем неизбежности смерти светилось в ее глазах, что, казалось, она уже видела себя поднимающейся по ступеням эшафота...

Мертвая тишина стояла в дортуаре. Липочка Курнакова громко всхлипнула. Тут только и зрительницы и актрисы вспомнили о Зинаиде Михайловне. Зрительницы одна за другой — подальше от греха! — бесшумно подвигались обратно к кроватям, актрисы же остались на месте, робко глядя на Зинаиду Михайловну в ожидании суда. Инспектриса молчала, погруженная в свои мысли.

— Я думаю, вам неудобно здесь играть? — спросила она неожиданно. — Да, очень неудобно, — повторила она, отвечая самой себе, потому что актрисы молчали, с недоумением поглядывая друг на друга. — Вот что, девочки! — В отличие от всего школьного начальства Зинаида Михайловна называла воспитанниц не «мадемуазелями» и не «госпожами», а просто «девочками». — Вот что я хочу предложить вам. У нас в училище есть сцена, хоть небольшая, но все же побольше вашей. Есть и декорации, тоже получше. — Она с улыбкой посмотрела на одеяла. Девочки смущенно переглянулись. — И занавес есть. Ну как? Согласны?

— Согласны! Конечно, согласны! — разом закричали очнувшиеся актеры и зрители.

— Тише, тише! — затыкая уши, говорила Зинаида

Михайловна.— Уже поздно, все спят. Екатерину Ивановну разбудите.

При имени Екатерины Ивановны девочки примолкли и боязливо оглянулись на дверь.

Инспектриса улыбнулась.

— Ну,— сказала она,— значит, договорились? А теперь спать, спать!

Зинаида Михайловна ушла, а воспитанницы долго еще стояли у дверей, посылая ей воздушные поцелуи.

— Настоящая сцена, с занавесом и декорациями! — не сказала, а, скорее, вздохнула Варя-первая.

— С занавесом и декорациями! — повторила Варя-вторая.

— Девицы, вы слышали, у нас будет настоящий театр! — делая невероятные прыжки и пируэты, кричала Вера Топольская.

— «Театр — отец, театр — мне мать, театр — мое предназначенье!» — запела Катя Семенова и, подхватив Машу за талию, закружилась с нею в веселом вальсе.— Маша, что же ты молчишь? Маша! Или ты не рада?

— Рада, Катюша, так рада, что и сказать не могу!

## СВИДАНИЕ

Инспектриса сдержала слово. Маленькая сцена с декорациями сада и павильона, много лет валявшимися без употребления, была перенесена в одну из рекреационных зал. Теперь у воспитанниц был свой постоянный театр. Они с жаром принялись за его устройство. Доставали пьесы, где только могли: в школьной библиотеке, у Данилова, у родных. За короткое время на школьной сцене было дано столько спектаклей, что сама дирекция Малого театра могла бы позавидовать.

Здесь шли и «Гроза» Островского, и «Горе от ума» Грибоедова, и «Орлеанская дева» Шиллера, и «Девичий переполох» Виктора Крылова, и «Батюшкина дочка» Шаховского.

Во всех этих спектаклях главные роли играла первая актриса труппы — Маша Ермолова. Она же была и режиссером, и главной распорядительницей. А зрителями по-прежнему были сами воспитанницы, да няньки, да швейцар Ефим, изредка заходивший сюда взглянуть на «пичуг», которые уже становились «мамзелями».

Однако счастье продолжалось недолго. Школьные спектакли почему-то встревожили театральное начальство. Прошло немного времени, и от директора императорских театров пришло предписание запретить воспитанницам заниматься драматическим искусством. Актеру Колосову, который числился преподавателем училища, поручено было строго следить за тем, чтобы спектакли были прекращены. Воспитанницам надлежало заниматься исключительно танцами. Приказано было даже сломать школьную сцену, но Колосову каким-то образом удалось уклониться от выполнения этого приказа.

И вот изо дня в день продолжались экзерсисы, словно сама судьба поставила себе целью наперекор всему сделать воспитанницу Ермолову балериной.

Маша видела, как рушатся ее мечты о драматической сцене, а родители приходили в отчаяние, не зная, как ей помочь.

Но вот неожиданно — это было весной 1866 года, когда заканчивался четвертый год обучения Маши, — в жизни Николая Алексеевича произошло важное событие.

После смерти главного суфлера Малого театра на его место был назначен Ермолов.

По существовавшим испокон веков правилам глав-

ному суфлеру полагалась четверть бенефиса<sup>1</sup>, то есть четвертая часть прибыли от спектакля. Выбор пьес и актеров предоставлялся самому бенефицианту. На 15 апреля 1866 года был назначен бенефис суфлеров Ермолова и Витнебена.

Так перед Николаем Алексеевичем открылась счастливая возможность выпустить Машу на сцену.

— Ермолова, в зал!

— К Маше Ермоловой отец пришел!

— Отец! К Маше!

— Маша, тебя отец в зале ждет!

— Один?

— Один!

Девочки, взволнованные не меньше самой Маши, спешили передать ей необычную весть. Отец приходил на свидание редко.

«Не случилось ли чего-нибудь дома?» — промелькнула у Маши мысль, пока она мчалась по коридорам, сталкиваясь с воспитанницами, возвращавшимися из зала.

«Мама?.. Боже мой, не заболела ли мама? Она в прошлое воскресенье была такая бледная! А может быть, Аннета, Саша?»

Прыгая через несколько ступенек, Маша спустилась по лестнице, толкнула дверь и очутилась в зале. Она сразу же нашла глазами Николая Алексеевича и, проскочив мимо Екатерины Ивановны, запыхавшись, остановилась возле отца.

Николай Алексеевич встал ей навстречу, обнял и поцеловал в лоб. Маша тревожно всматривалась в его лицо. Нет, не похоже было, что он пришел к ней с дурной вестью. Он был одет с особой тщательностью —

---

<sup>1</sup> Б е н е ф и с — театральное представление, сбор с которого поступает в пользу артиста.

Маша знала, сколько трудов стоило это Александре Ильиничне; во всей фигуре его чувствовалась торжественность. Глаза смотрели спокойно, и даже тень улыбки, которую в последнее время так редко наблюдали домашние, промелькнула на его лице.

— Здоровы ли все? Мама как? Отчего не пришла?

— Здоровы, все здоровы, Маша, успокойся. Ничего плохого не случилось. Даже наоборот, могу сказать — только хорошее. — Он взял Машу за руку и усадил рядом с собою. — Должен сообщить тебе, Маша, — начал он торжественно, — что теперь я являюсь главным суфлером Малого театра...

— Папенька!

— Да. Начальство распорядилось... вместо Петрова, покойника, царствие небесное!.. — Он смущенно кашлянул и продолжал: — Нам с Витнебенем разрешен бенефисный спектакль, который уже назначен на пятнадцатое апреля. Мы выбрали пьесу Шекспира «Виндзорские проказницы» и водевиль Ленского под названием «Жених нарасхват».

Николай Алексеевич с особым ударением произнес это название и, бросив загадочный взгляд на дочь, вынул из бокового кармана тоненькую тетрадку.

— Вот, — сказал он, подавая ее Маше, — вот этот водевиль. Прочитай его внимательно, Маша, и выучи наизусть роль Фаншетты. Я уже говорил с начальством. Оно согласилось выпустить тебя в этой роли.

Несколько мгновений Маша молча смотрела на отца, потом вскочила и крепко обняла его. Неужели она будет играть на сцене Малого театра? Она не могла поверить такому неожиданному счастью. И все это отец! Ей так хотелось выразить ему свою любовь и благодарность, но вместо этого она только обнимала его, плакала и смеялась. Николай Алексеевич молчал, расстроганный, и ласково гладил дочь по голове.

Шепот удивления пробежал по залу. Что произошло у Ермоловых? Что с Машей? Что за тетрадку передал ей отец? Воспитанницы были заинтересованы до крайности. Они рассеянно отвечали на вопросы родных, то и дело оборачиваясь в ту сторону, где сидели Маша с отцом.

Солонина тоже несколько раз проходила мимо них, недоумевая, что могло случиться с этой воспитанницей, всегда такой сдержанной и молчаливой.

— Мне пора, Маша, — сказал Николай Алексеевич вставая. — Быть может, фортуна<sup>1</sup> повернет наконец свое колесо в нашу сторону. Ну, бог с тобой, бог с тобой! — прибавил он и, быстро перекрестив дочь, направился к двери. — Да, — он остановился в смущении, — чуть было не забыл! Вот, мамаша посылает тебе гостинцев. — Он вынул из кармана узелок и протянул его Маше.

Она поймала на лету его руку и горячо поцеловала.

## «ЖЕНИХ НАРАСХВАТ»

- Маша! Маша!
- Да погоди же ты, Маша!
- Что случилось?
- Куда ты мчишься? Опомнись!
- Боже мой, что с нею, девочки?
- Посмотрите, она с нами и разговаривать не хочет!

Прижимая к груди тетрадку, Маша старалась пробиться сквозь кольцо обступивших ее воспитанниц.

— Машенька, что случилось? Расскажи, милая! — умоляла Варя Кудрявцева.

<sup>1</sup> Ф о р т у н а. — В древнегреческой мифологии богиня счастья и несчастья; изображалась стоящей на шаре или колесе.



— Ну, уж это слишком! — презрительно подергивая плечами, сказала Люба Красовская. — Не хочет, и не надо! Подумаешь, недотрога!

— Девицы, а Люба-то, Люба! Заважничала, что и не узнать, честное слово!

— Так ведь она теперь не Люба, а Гвадалквивир, разве забыли? — ехидно прыснула Топольская.

— Ха-ха-ха! Верно, Гвадалквивир! Осторожнее, возьмет да и потопит!

— И вовсе не Гвадалквивир, а Рейн! — обиделась Люба.

— Ах, простите, господин Рейн! — Вера церемонно присела перед Любой.

— Да, Рейн! Можете афишу почитать! — кипятилась Люба. — Так и написано: «Рейн — воспитанница Красовская». А про вас даже без фамилий — просто: «Двенадцать разных рек». Вот вам и завидно!

— Девицы, где же Маша? Машу упустили из-за этого Рейна!

Беглянку настигли у дверей дортуара.

— Девочки, милые, я вам все скажу потом, — взмолилась Маша, — вот только прочитаю это! — Она подняла руку с тетрадкой. — А потом все расскажу, честное слово!

— Ну, слышали? — сказала Топольская. — Маша сама обо всем расскажет. И не приставать больше! Русским языком вам говорят! Марш отсюда!

Забравшись в самый дальний угол дортуара, Маша погрузилась в чтение.

«Жених нарасхват». Шуточный водевиль. Перевод с французского. Действие происходит во французской деревне. Всех деревенских молодых людей забрали в солдаты. Остался только крестник писаря Грифонара — Пьеро, на которого прежде местные девушки и смотреть не хотели. Теперь он завидный жених. На него за-

рятся даже такие почтенные вдовушки, как мельничиха, госпожа Мяс, и трактирщица, госпожа Гого.

Маша внимательно прочитала длинные куплеты госпожи Мяс и госпожи Гого.

А вот наконец и Фаншетта!

Фаншетта. Здравствуйте, господин Грифонар!  
В добром ли вы здорвье?

Грифонар. Слава богу! Откуда ты, милая Фаншетта?

Фаншетта. Из-за угла. Я все слышала, что говорили вам здесь госпожа Мяс и госпожа Гого.

Старухи эти, право,  
Просто вышли из границ.  
Кто, скажите, дал им право  
Обижать здесь всех девиц?

Маша пожала плечами. Неужели ей придется петь эти куплеты? Не может быть, чтобы отец подобрал для нее такую неподходящую роль! Нет, дальше, дальше...

Грифонар. За Терезу ты хлопчешь?

Фаншетта. Нет, она чересчур проста.

Грифонар. Ты Лолотту выдать хочешь?

Фаншетта. Нет, она чересчур толста.

Грифонар. Лизе ты Пьеро желаешь?

Фаншетта. Лиза б вышла не любя.

Грифонар. На кого ж ты намекаешь?

Фаншетта. Натурально, на себя.

Грифонар. Уж смекает о замужестве! Ведь тебе тринадцать лет!

Фаншетта. Что ж такое? Сила в чувстве, а до лет тут нужды нет!

Маша в недоумении отодвинула тетрадку. Как могла она играть роль этой разбитной, кокетливой девочки, с которой у нее только и было общего, что тринадцать лет? Она снова взялась за водевиль и уже без всякого интереса дочитала его до конца.

«Что же делать? Боже мой, что же делать? — в отчаянии думала Маша. — Как сыграть эту роль? Ведь у ме-

ня ничего не выйдет! Это будет провал! Нет, не стану играть! — решила она. — Откажусь! Будь что будет! Так и скажу отцу. Он поймет, он все поймет...»

Поздним вечером вокруг Машиной кровати собрались ее ближайшие подруги. Они разделились на две партии: одни считали, что Маше надо играть Фаншетту, другие — что нет.

— Ну, зачем отказываться, пойми! — горячо убеждала ее Варя-вторая. — Ведь неизвестно, когда еще представится такой счастливый случай! Ты хорошо сыграешь, я уверена. Ты не можешь плохо сыграть!

Но Варя-первая с сомнением качала головой:

— Нет, Маша права: эта роль не для нее.

— Откажусь, откажусь! — твердила Маша, даже не слушая, о чем спорят подруги.

Через несколько дней начинались пасхальные каникулы; Маша с волнением ждала их. Как примет отец ее отказ? Впервые в жизни решалась она послушаться его. Это было очень страшно. И чем меньше времени оставалось до каникул, тем слабее становилась ее решимость.

Но вот наконец она дома. Мама, Аннета, Сашенька! Как соскучилась она по ним, как стосковалась! Она обнимала и целовала маму, потом Сашеньку, потом Аннету, потом снова маму, и снова Аннету, и снова Сашеньку. Говорила им какие-то ласковые, им одним понятные слова, расспрашивала, рассказывала. Школьное начальство вряд ли узнало бы молчаливую, сдержанную воспитанницу Ермолову. Она и сама удивлялась, откуда берутся у нее эти слова.

Аннета тоже говорила без умолку. Она училась теперь в гимназии, куда ее отдали по совету Самарина.

— Хватит с тебя и одной неудачницы, — решительно

сказал он Николаю Алексеевичу, когда тот рассказал ему о желании Аннеты учиться вместе со старшей сестрой.

Аннета немного поплакала и начала ходить в гимназию.

Теперь ей сразу же необходимо было рассказать Маше о гимназических делах.

Но вот прошла первая радость свидания, и Маша вспомнила о своем решении.

Отец вернулся с репетиции бодрый, даже веселый, — Маша раньше никогда не видела его таким. Он обрадовался ей, поцеловал в лоб — ей показалось, нежнее, чем обычно. Сели за стол, по-праздничному накрытый. Отец повязал вокруг шеи белую салфетку, обед начался.

Но Маша сидела бледная, озабоченная. Она даже не заметила, что мама сегодня приготовила все ее любимые блюда, а на третье — багдадский пирожок, густо обсыпанный сахаром, румяный и красивый, как никогда.

Александра Ильинична тревожно поглядывала на дочь. Сестры недоумевали: что могло приключиться с Машей?

Кончился обед. Николай Алексеевич долго развязывал салфетку, долго аккуратно складывал ее, искоса поглядывая на Машу.

— Ну, Маша, как роль? Приготовила? — спросил он наконец и поудобнее устроился в кресле, ожидая ответа.

— Папенька, — сказала Маша упавшим голосом и побледнела, — я не буду играть... я не могу играть Фаншетту.

Если бы молния ударила в дом Ермоловых, вся семья не была бы больше поражена.

— Что? Что? — задыхаясь, закричал Николай Алексеевич и вскочил с кресла.

Александра Ильинична невольно подалась вперед, как будто хотела защитить собою дочь.

— Маша, доченька, опомнись! — прошептала она.

Сестры замерли. В глазах Аннеты светилось глубокое удивление и преклонение перед Машиной храбростью. Она даже как-то по-особому махнула рукой, что означало: «Ай да Маша!»

— Играть не будешь? — Николай Алексеевич стукнул кулаком по столу так, что посуда зазвенела. — Это кто же тебя надоумил? Кто, скажи мне? Или вас в училище обучают родителей не почитать? — Он закашлялся и упал в кресло.

Маша стояла, опустив голову.

— Так-то отцу за заботу платишь? За то, что он из кожи вон лезет, чтобы помочь тебе на сцену пробиться? Не ожидал, не ожидал, Маша!

— Папенька, ведь эта роль совсем не для меня, мне не сыграть ее, — попыталась было убедить его Маша, но при этих словах гнев Николая Алексеевича вспыхнул с новой силой.

— Не для тебя! — закричал он. — Ты что же думаешь, тебе сразу роль Медведевой на блюде поднесут? Мала еще рассуждать! Отца учить вздумала! Как сказал, так и будет, слышишь? И чтобы...

Страшный приступ кашля не дал ему договорить. Он покраснел, потом смертельно побледнел и с закрытыми глазами откинулся на спинку кресла. Маша бросилась к нему и, став на колени, прижалась щекой к его руке.

— Буду, буду играть, разучу роль, все сделаю, только успокойтесь! Только не сердитесь, папенька!

15 апреля прошел бенефисный спектакль. В водевиле «Жених нарасхват» Фаншетту играла Ермолова.

Неуверенным, дрожащим голосом пропела она первые куплеты.

«Исправится, войдет в роль»,— утешал себя Николай Алексеевич, утирая потный от волнения лоб.

Но дальше пошло еще хуже. Не было в Маше ни игривости, ни кокетства, ни задора Фаншетты. Николай Алексеевич запретил ей гримироваться, и рядом с другими, накрашенными «невестами» она казалась бледной как смерть. Вдобавок у нее нарывал палец — пришлось завязать его тряпочкой, и это очень смущало Машу.

Занавес опустился. Актеры раскланивались, отвечая на жидкие аплодисменты.

— Неудача, неудача, провал! — шептал Николай Алексеевич, но и теперь не хотел сознаться, что дочь была права, отказываясь от роли.

— Да, девчонка нескладная! — громко сказала Медведева, выходя из артистической ложи.

## ПРИГОВОР

И опять потянулись для Маши однообразные серые дни, согретые лишь дружбой подруг. А дружба с каждым годом все росла и крепла. Ни один спорный вопрос не решался без Маши, ее мнение было законом.

Подруги верили в талант Маши, и никакие неудачи не могли поколебать этой веры.

— Все равно,— упрямо твердила Варя-первая,— все равно Маша играет лучше всех!

— Лучше всех! — повторяла Варя-вторая.

Отчего же взрослые не замечают того, что так очевидно для них? Вот над чем не раз задумывались и чего не могли понять девочки. Неужели школьное начальство не видит, что у Маши есть драматический талант и нет никаких способностей к танцам?

Но школьное начальство не интересовалось этим вопросом. После неудачи в водевиле «Жених нарасхват» оно и думать забыло о воспитаннице Ермоловой.

Время шло. Наступило лето 1869 года. Как всегда, Маша проводила вакации дома. Обнявшись с сестрами, бродила она по заброшенному кладбищу. Как знакомо все было здесь! Полуразрушенные памятники со стершимися надписями... Она помнила надписи наизусть. Вот с этой плиты поднималась она, изображая вставшее из гроба привидение. Как давно это было! А между тем мечты ее все еще оставались мечтами. Как мало за эти долгие годы приблизилась она к своей цели!

Николай Алексеевич озабоченно вглядывался в грустное лицо дочери. Надо помочь ей. Но как? Он по опыту знал, насколько труден путь, который ведет на сцену, но верил, что Маша может стать настоящей актрисой.

...В этот вечер перед спектаклем он долго приглаживал волосы, долго расчесывал усы и бороду. Несколько раз подряд вынимал из кармана часы, смотрел на стрелки, не видя их, и снова опускал часы в карман. Александра Ильинична недоумевала, но спросить ни о чем не осмелилась и только долго потом смотрела вслед увозившей его театральной карете.

В Малом театре шла французская драма «Детский доктор». Ею заканчивался зимний сезон — театр закрывался на лето. Роль детского доктора играл Самарин. Рукоплесканиям не было конца. Выждав, когда они смолкли, Николай Алексеевич робко постучал в уборную знаменитого артиста.

Самарин был еще в костюме доктора — во французском кафтане с пелериной и в парике с бантом.

— А-а, Николай Алексеевич! — сказал он немного удивленно, но радушно. — Заходи, заходи, батюшка, милости прошу!

Он указал рукой на стул, а сам, подойдя к зеркалу, начал переодеваться. Движения его были плавны и изящны, а походка так молода, что ему никак нельзя было дать его лет. Между тем ему уже было за пятьдесят.

Путаясь и запинаясь, Николай Алексеевич изложил свою просьбу — прослушать его шестнадцатилетнюю дочь. Быть может, Иван Васильевич найдет ее пригодной для театра.

Самарин был в этот вечер в прекрасном настроении.

— Ну что ж, — сказал он снисходительно, — посмотрим твою дочку, Николай Алексеевич! Привози ее ко мне в Иваньково. Хоть завтра.

— Вы к Ивану Васильевичу? — раздался старческий голос, и в дверях показалась маленькая, сгорбленная старушка в черном платье и черном кружевном чепчике. — Заходите, заходите, я его мать, — сказала она приветливо и, открыв дверь, пригласила войти Николая Алексеевича и Машу.

Просторная, светлая комната была сплошь увешана фотографиями. Вот Самарин, еще совсем молодой, стройный, во фраке, с белым жабо на груди, — это Чацкий из «Горя от ума». Вот он стоит на коленях перед Марией Стюарт, поднося к губам край ее платья, — это Мортимер. А вот храбрый дон Сезар де Базан в разорванном плаще и измятой шляпе.

У окна, за большим письменным столом, откинувшись на спинку кресла, в шелковом халате сидел, куря сигару, Самарин.

— Прошу, прошу, Николай Алексеевич, — сказал он, протягивая Ермолову руку. — А это дочь? Ну что ж, послушаем! — И сквозь дым сигары он окинул Машу равнодушным взглядом.





Маша дрожала от волнения. Помнит ли Иван Васильевич, что она — тот самый «невозможный паж», которого он когда-то распорядился убрать со сцены? Узнал ли ее?

Неуверенным голосом она прочитала монолог из «Орлеанской девы». Кончила. Быстро взглянула на Самарина и опустила глаза. Дверь тихонько приоткрылась, вошла мать Самарина и, сказав Маше что-то ласковое, увела ее к себе.

Николай Алексеевич взволнованно ждал. Прошло несколько томительных минут. Самарин положил дымящуюся сигару, потянулся в кресле и развел руками.

— Ну, брат Николай Алексеевич, — сказал он сочув-

ственно, — не могу тебя обнадежить! Ничего из твоей дочки не выйдет. И заниматься с нею не стоит. Только даром время терять. Пусть себе продолжает плясать «у воды».

...Тихо и мрачно в доме Ермоловых. Младшие девочки ходят на цыпочках и говорят шепотом, не смея заглянуть в комнату, где, уткнувшись в газету, лежит отец. В ушах его звучат последние слова Самарина. Неужели прав великий артист и у Маши нет никакого таланта? Неужели он так ошибался в дочери?.. Александра Ильинична ступает бесшумно, как тень, стараясь не загреметь посудой. Украдкой она вытирает слезы.

Одна Маша спокойна. Она сама не понимает, что происходит в ее душе, но она уверена, твердо уверена, что придет время — и наперекор всему она станет актрисой.



## Ю Н О С Т Ь

### ПЕРЕД ВАКАЦИЯМИ

- Ты все уроки приготовила?
- Какое все!
- Вот и врешь! Я сама видела, как ты вчера историю зубрила.
- «Зубрила»! Во-первых, это ты зубришь, а я не зубрю!
- Она не зубрит! Слышите, девицы?!

— Тише, тише! Дайте углубиться в себя и припомнить грехи.

— Ох уж этот батюшка! Сочиняй ему грехи — и всё тебе тут!

— Аристова, прочитай, какие ты грехи записала, а я тебе свои прочитаю.

— Ленилась, говорила дерзости...

— Это все есть. А какой-нибудь особый грех, который тяготит? Придумайте, ради бога, девочки, не будьте эгоистками! Не то как погонит меня батька!..

— Осуждала, прельщалась мужскими лицами...

— Прельщалась мужскими лицами... Это, пожалуй, подойдет.

— Аннета, тебе какое платье делают к вакациям?

— Два: одно ситцевое, другое сатиновое. Сатинчик прелесть какой! Мы с мамой на «дешевых товарах» покупали.

— Сколько за аршин?

— Двадцать две копейки. Голубенькая полоска, беленькая полоска, узенькие-узенькие.

— А мне какое платье шьют, просто чудо! Визитное шелковое, с розовыми крапинками, в две оборки!..

Забравшись в самый уединенный угол дортуара, чтобы не слышать всей этой пустой болтовни, Маша прощалась с подругами. Разлука предстояла недолгая — быстро промелькнут рождественские вакации, — но все же надо было вдоволь наговориться и помечтать вместе.

— Счастливицы вы, девочки! — грустно говорила Варя-вторая. — Завтра вы будете дома, вас ждут родные, близкие... А я? Кому я нужна? Тетя, быть может, и во все забыла о моем существовании...

— Не говори так, Варюша, милая! — горячо возразила ей Маша. — Ты всем нужна. Вот дай срок, вырвемся мы на волю из этих стен, и откроется перед нами новая

жизнь! И она будет хороша... Ты, Варя, будешь пианисткой — ведь тетя обещала отдать тебя в консерваторию. Вечерами мы будем собираться. Катя будет петь...

— А ты, Маша, ты будешь актрисой, великой актрисой! — перебила ее Варя.

— Ах, девочки, милые, — Маша обняла их, — как хочется жить, как хочется играть! А вот выпустят из училища фигуранткой и буду всю жизнь танцевать «у воды»... — Она замолчала, задумалась.

— А у меня почему-то все наоборот получается, — сказала Катя. — Вот если задумаю что-нибудь и очень, очень жду — никогда не выйдет. А бывает, и не думаешь вовсе, а желание исполнится. Так и теперь! Уж как я ждала вакансий! Соскучилась по маме до смерти! Никогда, кажется, так не хотелось повидать ее. Ну и пожалуйста, опять гастроли, опять Петербург! Ненавижу я этот Петербург! Что в нем хорошего, не понимаю! А ее все туда тянет.

— Катя, а ты к кому же на vacation? Опять к Медведевой?

— Да, к Надежде Михайловне.

Погруженная в свои мысли, Маша рассеянно слушала подруг. Она и не подозревала, какую огромную роль в ее судьбе должно было сыграть то обстоятельство, что Катина мама уехала в Петербург на гастроли, а Катя собиралась провести vacation у Надежды Михайловны Медведевой.

## БОЛЬШОЙ ДОМ

Катя слонялась по большой медведевской квартире и скучала. Этот большой, шумный дом всегда был полон гостей, всегда жили здесь какие-то племянницы, тетуски, дальние родственницы, старушки приживалки. Шли

бесконечные споры и толки о театре, о пьесах, о ролях, о закулисных делах и интригах.

Муж Медведевой, Василий Алексеевич Охотин, был также актером Малого театра; и ее мать, Акулина Дмитриевна, в молодости была актрисой. Надежда Михайловна и в жизни, как на сцене, постоянно играла, изображая людей, с которыми ей приходилось встречаться, тонко подмечая и копируя их смешные черты.

В столовой, где сходилась вся семья, беспрерывно раздавались громкие взрывы смеха, а в промежутках между ними слышался низкий голос что-то изображавшей Медведевой.

А Катя жила в этом большом доме своей особой жизнью. То начинала она играть в «города», и тогда каждая комната превращалась в город. Комната Акулины Дмитриевны, с множеством интересных шкатулочек, забавных безделушек, с образами, — это была Кострома. «Людская», где жила кухарка Марья, — с горой подушек в розовых ситцевых наволочках, с одеялом из разноцветных лоскутков, с бумажными цветами — это была Таруса, куда Катя с мамой ездили на лето. А Москва — это была гостиная, с мебелью, крытой темным шелком, с портретами знаменитых актеров на стенах, со стеклянным шкафчиком-горкой, в котором хранились всевозможные подношения, полученные Надеждой Михайловной. Катя подолгу стояла возле шкафчика, сквозь стекло разглядывая золотые венки, серебряные бьюары, старинные чашки, фарфоровые фигурки. Кабинет Василия Алексеевича, темноватый и неудобный, с тяжелыми дубовыми стульями, с резными книжными шкафами, с высокими бронзовыми канделябрами, — это был Петербург. Катя не любила этот город. У нее были с ним свои счеты.

То вдруг воображала она, что попала в волшебный замок, и вся квартира, становясь таинственной, мгно-

венно преображалась. Катя на цыпочках скользила по длинному коридору, не замечая шума и суеты, царивших в доме, то и дело попадаясь кому-нибудь под ноги.

Детей в доме не было, и поэтому, когда Катя приезжала, все возились с нею, развлекали, баловали. Особенно дружила она с Акулиной Дмитриевной. Всегда опрятно одетая, даже нарядная, в белом кружевном чепчике, старушка сидела в глубоком кресле и вязала на спицах. Катя брала низенькую скамеечку и садилась у ее ног. Спицы быстро мелькали в руках Акулины Дмитриевны. Не глядя на вязанье, ровным, тихим голосом рассказывала она разные интересные истории из своей жизни: о том, как во время нашествия французов на Москву театральное училище, воспитанницей которого она тогда была, перевезли в Кострому; о том, как она жила в этом живописном волжском городе, как участвовала в школьных спектаклях, которые давались в губернаторском доме.

Когда на этот раз Катя попала к Медведевой, весь дом был охвачен тревогой. На 30 января назначен был бенефис Надежды Михайловны. Для этого спектакля она выбрала драму Лессинга «Эмилия Галотти». Роль Эмилии должна была играть Гликерия Николаевна Федотова, роль ее отца Одоардо — Самарин, а роль графини Орсини — сама Медведева.

На репетициях все шло прекрасно: актеры уже освоились со своими ролями, Надежда Михайловна была довольна. И вдруг неожиданный случай разрушил все ее планы! Федотова серьезно заболела, нечего было и думать, что она сможет участвовать в спектакле. А до бенефиса оставался всего лишь месяц. Медведева была расстроена. Что придумать? Кем заменить Федотову? Она перебирала в уме всех знакомых молодых актрис и не могла найти подходящую.

Весь дом — и Василий Алексеевич, и Акулина

Дмитриевна, и гостившие тетушки и племянницы, и ведавшая хозяйством старушка родственница, Елизавета Кузьминична, и горничная, и кухарка Марья, — все судили и рядили только об этом.

Кате очень надоели все эти разговоры. Прежде любимым ее развлечением были поездки с Надеждой Михайловной по магазинам за покупками. Надежда Михайловна надевала свою бархатную шубку с пушистым собольим воротником и соболью шапочку, и Катя любовалась ею, еще такой красивой, представительной, энергичной. Часто прохожие узнавали знаменитую артистку, останавливались и, провожая взглядом, перешептывались.

А теперь и за покупками Надежда Михайловна стала выезжать очень редко, разве что в маленькую колбасную на Ильинке. В этой узенькой лавочке, славившейся своими товарами, всегда было очень оживленно — сюда ездили со всех концов Москвы. Актеры были неизменными ее посетителями. Под свисавшими с потолка окороками, колбасами, огромными гроздьями сосисок — белых, розовых, красных — велись нескончаемые театральные разговоры. А за прилавком — с большим ножом, в белом переднике, в белой шапочке, с лоснящимся розовым лицом стоял хозяин, встречавший покупателей, как старых знакомых.

Надежда Михайловна покупала ветчину и сосиски, а Катя укладывала покупки в корзиночку, но уйти удавалось нескоро. Приходили знакомые актеры, и снова начинались расспросы о бенефисе.

— Надежда Михайловна, а не поговорить ли вам с Надей Васильевой? Может, она сыграет? — посоветовал однажды встретившийся им Живокини.

Надежда Михайловна задумалась. Надя Васильева была талантливая молодая артистка, дочь известного актера Сергея Васильева.



— Правда, в драматических ролях ей до сих пор выступать не приходилось, — прибавил Живокини, — однако пусть попробует. Может, и удастся.

— Благодарствуйте, Василий Игнатьич, навели меня на мысль. Поеду к Наде Васильевой!

В тот же день Надежда Михайловна отправилась к Васильевой. Все домашние с нетерпением ожидали ее возвращения. Акулина Дмитриевна беспокойно поглядывала на часы, Елизавета Кузьминична гадала на картах, и вышло, что хлопоты кончатся благополучно через бубновую даму; кухарка Марья видела сегодня во сне тесто, а это всегда к добру, особенно под праздник, — одним словом, все приметы сходились на том, что Надя Васильева выручит из беды Надежду Михайловну.

Но Надежда Михайловна вернулась домой мрачнее тучи и от огорчения слегла в постель. Надя Васильева наотрез отказалась играть роль Эмилии Галотти.

— Хоть кол на голове теши, — рассказывала Медведева о своем разговоре с Надей. — «С меня, говорит, хватит моих резвущек да простушек, а драматическая роль — это не по мне». Затвердила — и никаких! Упрямая девчонка!

Катя внимательно прислушивалась к словам Медведой. И вдруг ее осенила мысль.

— Надежда Михайловна, — сказала она, краснея и запинаясь от волнения, — попробуйте Машу Ермолову!

Медведева с удивлением взглянула на Катю, как будто только что заметила ее присутствие.

— Ермолову? — спросила она припоминая. — Это какую же? Суфлерскую дочку?

— Да, да, Машеньку!

Надежда Михайловна пожала плечами:

— Дика больно, неуклюжа!

Но Катя не сдавалась.

— Надежда Михайловна, душенька, попробуйте только, испытайте! — молила она, бросаясь на шею к Медведевой. — Ну что вам стоит!.. А вдруг... Ах, вы не знаете, как она играет! Если бы вы только видели... Она дивно, она необыкновенно играет!

— Постой, постой, матушка, да где она играет-то?

— У комода, Надежда Михайловна, и на школьной сцене!

— У комода? — На лице Медведевой изобразилось удивление. — У какого комода? Помилосердствуй, Катюша!

— Да это у нас в дортуаре! Мы всегда раньше у комода играли, потом Зинаида Михайловна разрешила на сцене. А теперь нам запретили на сцене, и мы снова у комода играем... Надежда Михайловна, милочка, прослушаете Машеньку, да?

Медведева молчала в нерешительности. Видимо, она колебалась. Катя лихорадочно соображала, какой бы еще довод привести в пользу Машеньки. Взгляд ее остановился на Акулине Дмитриевне. Подняв глаза от своего вязанья, старушка с интересом прислушивалась к разговору. В один миг Катя очутилась возле нее и едва не задушила в объятиях.

— Акулина Дмитриевна, душенька, голубушка, — говорила она в промежутках между поцелуями, — помогите мне, уговорите Надежду Михайловну! Ну, пожалуйста, милая, хорошая, дорогая, золотая Акулина Дмитриевна!

— А и впрямь, Наденька, отчего не испытать? — сказала Акулина Дмитриевна, тщетно пытаясь освободиться от Катиных объятий и поправляя сбитый набок чепчик. — Может статься, и вправду воспитанница талантливая и с ролью справится. Я помню, в наше время бывали такие случаи. Сколько угодно. Воспитанницы заменяли актрис, и с успехом!

Едва веря ушам, Катя переводила взгляд с Акулины Дмитриевны на Надежду Михайловну и кивала головой после каждого слова своей неожиданной союзницы.

— Вот! — с торжеством прибавила она, когда старушка замолчала, и, не давая опомниться Медведевой, бросилась к ней и, заглядывая в глаза, снова начала молить: — Вы только испытайте, Надежда Михайловна, милая! Только попробуйте! А вдруг...

— «А вдруг»! — передразнила ее Медведева и, взяв за подбородок, ласково потрепала по щеке. — Будь по-твоему, стрекоза. Так и быть, послушаем твою Машеньку. Посмотрим, какая там у вас актриса завелась у комода. Завтра поеду в училище, поговорю с начальницей.

## БУДУ ИГРАТЬ!

Поздняя рождественская ночь. Спит залитая лунным светом площадь Спаса. Огни давно погашены в домиках. Крепко спят их обитатели, утомившись от дневных трудов и забот.

И только в одном полузанесенном снегом окошке светится тусклый огонек. У стола, перед огарком сальной свечи, склонившись над тетрадкой, сидит Маша.

— «Три раза снились мне эти драгоценные камни. Я видела, будто каждый камень вдруг превратился в перл. А перлы, вы знаете, означают слезы...» — шепчет она слова роли.

В соседней комнате слышится шлепанье туфель и знакомое покашливание. Маша знает — отец не спит. Он полон тревоги за нее. Как волновался он сегодня, чуть не плакал от радости, когда она вернулась из училища и рассказала о своем разговоре с Медведевой! А Александра Ильинична только всплеснула руками и

долго сидела пораженная. И правда, было чему удивляться. Маша сама не могла догадаться, почему именно на ней остановила свой выбор Медведева. Как это случилось?

Сколько раз на протяжении этого вечера радость сменялась тревогой и сомнением! Вся семья была как в лихорадке. Даже веселая Аннета примолкла и ничего не рассказывала о своих гимназических делах.

— «О, если б гром разразился и помешал мне слушать далее! Голос говорил мне о красоте, о любви, жаловался, что этот день, который решает мое счастье...»

Дверь тихонько приотворяется, и в ней появляется бледное, расстроенное лицо Николая Алексеевича.

— Машенька,— говорит он в промежутках между приступами кашля,— откажись, пока не поздно, дитя мое! Послушай моего совета. Отошлем роль Надежде Михайловне — и дело с концом...

Маша поднимает глаза от тетрадки и долго смотрит на отца, как бы не в силах вырваться из того мира, в котором она только что жила. Наконец слова его доходят до ее сознания.

— Нет, папенька, не говорите так. Не вы ли сами желали этого всей душой? Не вы ли всеми силами старались помочь мне? А теперь, когда представляется случай попасть на сцену, вы же сами отговариваете меня! Нет, я знаю, вы не хотите этого! Отказаться? Вернуть роль? Да это значит отказаться от всего, чем я жила до сих пор, навсегда оставить мечты о театре... Нет, нет, ни за что! Буду играть! И, быть может, на этот раз судьба будет милостивей ко мне.

Николай Алексеевич растерянно смотрит на дочь. Такой решимости он никогда еще в ней не видел.

«Кто знает, быть может, и вправду судьба...» Сомнения вновь уступают место надежде.

— Ах, Машенька! Ах, Машенька! — От полноты чувств он не может больше вымолвить ни слова.

Несколько минут Николай Алексеевич стоит молча, потом осторожно выходит на цыпочках и уже за дверью тихонько бормочет:

— Ну, бог с тобой! Бог с тобой!

Но едва лишь закрывается дверь за Николаем Алексеевичем, на Машу нападает страх. А что, если отец прав? Что, если опять неудача? Быть может, и вправду лучше вернуть тетрадку, не позориться перед Медведевой? Было бы так горько не оправдать ее доверия... Да и чем заслужила его она, никому не известная воспитанница, да к тому же еще такая нескладная на вид? А между тем как ласково обошлась с нею знаменитая актриса! В первую минуту Маша оробела перед ней — такой красивой и величавой, словно сказочная королева. Но страх быстро прошел. Выразительные, живые глаза Надежды Михайловны приветливо смотрели на нее, а говорила она так просто и понятно:

— Прочти внимательно всю пьесу, вздумайся не только в слова роли, но и в то, что скрыто за этими словами, и тогда каждое восклицание, каждая пауза заполнятся содержанием. Помни: ты не только потому вышла на сцену, что это понадобилось автору и он написал: «входит». Ты должна себе представить, откуда ты пришла, чем жила раньше. Вот эту-то жизнь и принеси с собой на сцену.

Маша запомнила каждое ее слово.

— Через два дня сделаем репетицию, — сказала ей на прощание Медведева, — тогда и решим.

«Нет, нет, не отступлюсь, испытаю судьбу!»

Маша придвигает ближе огарок свечи и, сжав голову руками, в сотый раз повторяет слова роли.

## ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Катя с самого утра была вне себя от волнения — сегодня решалась судьба Машеньки. Репетиция была назначена на одиннадцать часов. Катя просила Надежду Михайловну взять ее с собой в училище, но та наотрез отказала:

— Сиди-ка ты дома, матушка. Не до тебя теперь твоей подружке. Небось едва жива от страха.

И вот прошло уже больше трех часов, а Надежда Михайловна все не возвращалась.

«Что же это, боже мой! Отчего так долго? Неужели и на этот раз сорвется?» — думала Катя.

Она ежеминутно заглядывала в окошко, забегала к Акулине Дмитриевне, садилась за рояль, пробовала сочинять стихи.

— Елизавета Кузьминична, душенька, погадайте на бубновую даму, — попросила она, наткнувшись в своих блужданиях по квартире на старушку родственницу. — Пожалуйста, миленькая, я так беспокоюсь! На бубновую даму!

Елизавета Кузьминична посмотрела поверх очков на Катю:

— Это почему же на бубновую? Не на бубновую надо, а на червонную!

— Я думала, Маша бубновая, вы сами говорили... — попробовала возразить Катя.

— Надежда Михайловна — дама червонная, — перебила ее Елизавета Кузьминична тоном, не допускающим возражений, — на нее и гадать надо.

— Ну, пускай на Надежду Михайловну, пускай на червонную — на какую хотите, только погадайте, душечка!

Елизавета Кузьминична гадала медленно, с толком. Она долго тасовала колоду, раскладывала несколько раз

карты, каждый раз по-другому. Чего только не предстояло червонной даме! Тут были и хлопоты через казенный дом, и болезнь, и коварные интриги королей и дам. В особенности неистовствовала дама пик. Она так и норовила лечь между червонной и бубновой дамами. От ее происков туго приходилось им обеим. Кто бы это мог быть? Что это была за дама? Катя и Елизавета Кузьминична недоумевали.

— Должно быть, Солонина, — решила наконец Катя.

— Какая солонина?

— Наша классная дама, Екатерина Ивановна. Должно быть, напортить хочет Маше. Она всю жизнь к ней придирается, злущая!

Обе были так увлечены гаданием, что не слышали, как задребезжал звонок в передней, и очнулись, только когда из гостиной раздался голоса Надежды Михайловны и Василия Алексеевича. Катя бросилась в гостиную. Надежда Михайловна, оживленная, разгудавшаяся с мороза, громко рассказывала о чем-то.

— Куда, куда, стрекоза! Чуть с ног не сшибла! Успокойся, будет играть твоя Машенька!

Медведева звонко поцеловала Катю в щеку.

— Ну так вот, — продолжала она прерванный рассказ, — я думаю, что на этот раз судьба, с помощью моей милой Катюши, направила меня в верную сторону. Я встретила настоящую актрису. Когда она выбежала из-за кулис и низким, грудным голосом, в котором чувствовались слезы волнения, проговорила первые слова: «Слава богу! Слава богу!» — мурашки забегали у меня по спине. Я вздрогнула. Конечно, она еще очень неопытна. Многое плохо, и неверно понято, и некрасиво. В особенности жесты. Но это все пустяки, это придет позднее. Есть главное: талант, сила! Если это не так, значит, я ничего не понимаю.

С бьющимся сердцем слушала Катя рассказ Медве-

девой. Неужели сбудется наконец мечта Машеньки? Неужели пришло время, когда талант ее будет признан всеми — не только подругами, восхищавшимися ее игрой у комода? И кто же устроил все это? Неужели она, Катя? Это было непостижимо, как в сказке.

— Ну, друг мой, — сказал Охотин, целуя жене руку, — если дело обстоит так, поздравляю тебя! Твой бенефис спасен!

— Подожди, имей терпение, мой милый, дай досказать, — остановила его Надежда Михайловна. — Не так все просто, как ты думаешь. Я заверила молодую девушку, что она будет играть роль Эмилии, переговорила с начальницей. Та отнеслась к моей просьбе милостиво, но... Все зависит от инспектора репертуара. И вот я прямо из училища — к Бегичеву. Бегичев выслушал меня — и на дыбы. Возмутился, покраснел, как рак: «Помилуйте! Какой-то воспитаннице играть вместо Федотовой! Да слыханное ли это дело! Пощадите, Надежда Михайловна!» — Она смешно передразнила Бегичева.

Василий Алексеевич засмеялся.

— А я говорю: «Нет, не пощажу! И не просите и не надейтесь, батенька! Все равно добыюсь своего». Кричали мы с ним, кричали — думала, уж совсем не бывать бенефису. Ну, да ничего, под конец поладили. Дал согласие. Крепя сердце, но все-таки дал!

Медведева замолчала и задумалась.

Катя подбежала к ней и, опустившись на колени, прижалась щекой к ее руке.

## ЗА КУЛИСАМИ

Когда в театре узнали, что роль Эмилии Медведева отдает какой-то неизвестной воспитаннице, поднялась настоящая буря.



- Девчонке, школьнице!
- Роль Федотовой!
- Самой Гликерии Николаевны!
- Неслыханная дерзость!

Но Медведеву не поколебали закулисные толки. Не обращая на них никакого внимания, она упорно продолжала заниматься с Машей. А Маша работала с увлечением, со страстью. Работе она отдавала теперь все свободное от школьных занятий время. Едва кончались танцевальные классы, она запиралась в пустом зале и часами повторяла перед зеркалом роль, следя за своими жестами, мимикой, движениями, припоминая мельчайшие замечания Медведевой.

Никогда и не думала она раньше, как трудно научиться владеть руками, добиться того, чтобы не думать об их существовании. Как трудно избежать резкости и угловатости движений, неловкости манер, добиться полного соответствия между словом и жестом! Теперь, только после уроков Медведевой, поняла она, как важно преодолеть все эти трудности, чтобы стать настоящей актрисой.

Иной раз, в изнеможении опустившись на стул, Маша говорила себе, что никогда не сможет исполнить роль Эмилии так, как этого требовала от нее Надежда Михайловна.

Но на другой день Надежда Михайловна выслушивала ее, подбадривала, отмечала успехи, указывала недостатки, и работа начиналась снова. Чтобы яснее дать понять своей ученице, чего надо избегать, Медведева любила передразнивать ее, но делала это так добродушно и не обидно, что часто обе — и сама она, и Маша — не могли удержаться от смеха.

Вскоре репетиции были перенесены со школьной сцены в театр. Вот когда наступило для Маши время тяжелых испытаний! Каждая репетиция была теперь

пыткой для нее. Со всех сторон сыпались злые насмешки, долетали обидные слова, всюду встречали ее недоброжелательные взгляды. Скрывать от нее ничего не считали нужным. Стоило ли особенно церемониться с этой девочкой!

Положение Маши стало еще труднее, когда Медведа заболела и поручила занятия с нею Самарину — он был также занят в спектакле в роли Одоардо, отца Эмилии. Знаменитый артист снизошел на этот раз к просьбе Надежды Михайловны и временно принял на себя руководство дебютанткой. Занимался он с нею добросовестно, но неохотно, видимо не веря в успех и удивляясь выбору Медведевой.

Маша приходила в отчаяние и готова была отказаться от роли. Но каждый раз при выходе из театра глаза ее невольно приковывались к висевшей у подъезда большой желтой афише. В ней объявлялось, что «в пятницу 30 января в пользу артистки госпожи Медведевой будет в первый раз представлена трагедия Лессинга «Эмилия Галотти». Роль Эмилии Галотти будет играть воспитанница Ермолова».

Эта короткая строчка возвращала ей твердость.

## 30 ЯНВАРЯ 1870 ГОДА

Утро стояло ясное. Сквозь матовые, разрисованные морозом стекла пробивались красноватые лучи зимнего солнца. Воспитанницы давно уже были в танцевальном зале, и только Маша сегодня была освобождена от занятий. Закутавшись в платок, как во сне, бродила она по пустому дортуару. Голова была туманная, и только одна мысль со страшной отчетливостью всплывала в сознании. «Боже мой, боже мой, — вспоминала она, холодея, — ведь сегодня пятница, мой дебют!»

Она начинала лихорадочно перелистывать роль.

«Только что я встала на колени, только что начала возносить мое сердце к богу...»

— Нет, не могу, не могу! — шептала она, в отчаянии закрывая тетрадку. — Сил моих нет, ничего не понимаю, все забыла... Что-то будет? Неужели провал? Я не перенесу этого! Господи, сделай так, чтобы меня вызвали хоть один раз, один-единственный! Больше мне ничего не нужно, больше я ничего не прошу, господи!

Так проходило время. На переменах прибегали подруги, она заговаривала с ними, но тотчас же снова принималась повторять роль. А у подруг были свои огорчения. По каким-то загадочным соображениям Солонина наотрез отказалась взять их на спектакль, несмотря на все просьбы, мольбы и слезы. Топольская с помощью верной Степаниды пробралась на квартиру инспектрисы, но Зинаида Михайловна была больна, и Веру к ней не допустили.

К одной только Варе Бороздиной судьба оказалась милостивей. Варя участвовала в водевиле, который шел в этот вечер в Малом театре вслед за трагедией «Эмилия Галотти». Для увеселения публики принято было после драмы показывать водевили и балетные дивертисменты. И вот, в «комедии-шутке, заимствованной с французского» и носившей бойкое название «Торговый дом Шнапс, Клакс и К<sup>о</sup>», Варя играла несложную роль Гретхен, одной из дочерей Шнапса.

Варя была счастливицей. Подруги завидовали ей. Ее возьмут в театр, она увидит хоть конец спектакля.

Пробило пять часов. Не думая больше ни о чем, Маша бродила по училищу. Из классных комнат доносились голоса преподавателей. «Меридианом называется воображаемая линия...», «Квадрат суммы двух чисел равен...» Ламповщик зажигал лампы, распространявшие привычный запах копоти и горящего масла. Нянюшки,

подобрав подола юбок, мыли полы. Степанида прибежала проведать Машу, перекрестила ее, поцеловала.

— Ты помолись,— посоветовала она ей,— все не так страшно будет. Павел Степаныч иногда даже к ранней обедне, бывало, сходит в свой бенефис. Правда, выпьет еще для храбрости, царствие ему небесное.

Солонина встретила Машу и почти ласково посоветовала ей отдохнуть.

— Да я ничего... не устала, Екатерина Ивановна, не беспокойтесь,— отвечала Маша.

И в самом деле, она почему-то вдруг перестала волноваться. Даже забывала по временам, что сегодня играет...

— Кареты в Малый! — отрывистым басом прокричал Ефим.

Маша застыла, как будто эти знакомые, милые сердцу слова стали вдруг для нее непонятными и страшными. Дрожа и спотыкаясь, она побежала одеваться. Подруги догнали ее на лестнице, наперерыв целовали, крестили, говорили ласковые напутствия, умоляли не волноваться.

Внизу, уже одетая, готовая к отъезду, ждала Солонина.

— Екатерина Ивановна,— бросилась к ней снова Варя Кудрявцева,— мы вас в последний раз умоляем, возьмите нас с собой! Ну что вам стоит, мы на колени перед вами станем, Екатерина Ивановна!

Но Екатерина Ивановна была неумолима. Она строго посмотрела на Варю, рукой показала Маше идти вперед и величественно проплыла за нею.

Нырять в сугробах, медленно полз театральный рыван. Сквозь морозный туман виднелись неясные очертания домов. Белые, точно кружевные деревья проплывали мимо. Сумерки сгущались. Фонарщики, приставив лесенки к столбам, зажигали масляные фонари.



Маша вздрогнула от неожиданности, когда кучер осадил лошадей, и рыдван, качнувшись немного вперед, остановился перед зданием театра. Она взбежала по лестнице. Чьи-то знакомые руки обняли ее. Это была Александра Ильинична. Слезы волнения стояли в ее добрых глазах.

Вертявый, развязный блондин парикмахер завил Маше волосы, подкрасил щеки, подвел брови, провел тушью под глазами. Маша взглянула в

зеркало и не узнала себя. Неужели это была она? На нее смотрело совсем чужое лицо.

Толстая добродушная костюмерша надела на нее какой-то старый голубой лиф, широкую, причудливого фасона юбку и повела к Медведевой.

Надежда Михайловна сидела перед зеркалом в своей уборной и гримировалась.

— А-а, Маша! — протянула она, увидев ее в зеркале, и, медленно обернувшись, удивленно оглядела с головы до ног.

Безобразный наряд делал Машу неузнаваемой.

— Очень мило, очень мило, — сказала Медведева, но не в силах была сдержать улыбку.

Впрочем, она тотчас же спохватилась, встретив страдальческий взгляд Маши, и, взяв со столика вуаль, приколола ее и ловко расправила на Маше.

— Вот так, теперь хорошо. Так и иди, не снимай... Ну, ступай с богом! — И она трижды перекрестила ее.

Та же толстая костюмерша повела Машу за кулисы. По дороге им встретился Самарин. Он был уже в костюме Одоардо. Вероятно, у Маши был очень жалкий вид, потому что Самарин остановил ее и заговорил ласковее обыкновенного:

— Ничего, не надо робеть, все сойдет как нельзя лучше. Все мы когда-то дебютировали. Главное — спокойствие!

Спектакль начался. Шел первый акт. В нем Маша не была занята. Она сидела за кулисами и терпеливо ждала. Оцепенение нашло на нее. Со сцены доносились голоса актеров. Вот Вильде — принц Гонзаго — отдает приказание своему камердинеру, вот он разговаривает с живописцем Конти — Лавровым. Вот входит с бумагами для подписи советник Камилло Рота — актер Колосов.

Первый акт кончился, актеры расходились по своим уборным. На сцене рабочие меняли декорации, что-то передвигали, бегали. Раздавался стук молотков.

Но вот начался второй акт. Маша слышала, как после антракта взвился тяжелый занавес. Безумный страх овладел ею. Она задрожала, заплакала, начала лихорадочно креститься. Александра Ильинична, дрожащая не меньше дочери, подвела ее к кулисе. Солонина поднесла к ее губам стакан воды.

— Бог милостив... — сказала она.

Не отходил от Маши и Василий Алексеевич Охотин. Он успокаивал ее, пытался шутить, уверял, что выходить на сцену совсем не страшно, что он никогда не боится, а у самого голос дрожал от волнения. Маше ка-



залось, что она забыла роль, что она не вспомнит ни одного слова.

Со сцены доносились голоса, но Маша уже ничего не могла разобрать. С невероятным усилием она прислушалась. Вот Одоардо — Самарин кончает: «Прощай, прощай же, Клавдия!»

Кто-то легонько толкнул Машу в спину — и в то же мгновение она была на сцене. Ей показалось, что она провалилась в какую-то пропасть. Вместо зрительного зала перед глазами ее было огромное черное пятно.

— «Слава богу, слава богу, теперь я в безопасности! Или он и сюда последовал за мною? Нет, слава богу!»

Маша сама не знала, как хватило у нее сил произнести эти первые слова роли. Раздались громкие аплодисменты.

«Что это значит, боже мой!» — неясно подумала она и только в следующее мгновение поняла, что аплодисменты относились к ней.

«Какое счастье!»

И, точно по волшебству, страх мгновенно исчез. Казалось, она ощутила в себе какую-то таинственную силу. Она была уже не прежняя робкая девочка, она была актриса. Все увереннее становились ее движения, глубже звучал голос.

Она убежала за кулисы. Громкие аплодисменты и вызовы понеслись ей вслед.

В антракте, прислонившись к старой пыльной декорации, она рыдала счастливыми слезами. Вместе с нею плакала Александра Ильинична.

— Успех! — радостно восклицали немногие Машины доброжелатели.

— Успех! — с огорчением повторяли вчерашние враги.

Антракт близился к концу. Мимо Маши прошел какой-то незнакомый человек, надушенный, с расчесанными на прямой пробор, напмаженными волосами. Как хозяин он посматривал вокруг, снисходительно отвечая на поклоны. Это был Пельт, управляющий конторой московских театров. В нескольких шагах от Маши он остановился, встретившись с актером Вильде.

— Ну что? Говорят, недурно? — спросил он. — Я запоздал немного. Не был еще на спектакле.

— Да, очень недурно, — отвечал Вильде.

— Что же, по крайней мере, есть понимание?

— Даже больше! Есть талант.

— Вот как? Ну что ж, очень рад! — Он небрежно поднес к глазам лорнет, разглядывая Машу.

А Маша стояла ни жива ни мертва. Талант! Есть талант! Уж не ослышалась ли она?..

Ее вызывали двенадцать раз...

— Такой дебют бывает однажды в столетие! — расходясь после спектакля, говорили старые театралы.

## ПОДРУГИ

Приближалась полночь. Быстро пустели узкие московские улицы. Гулко отдавались на морозе шаги запоздалых прохожих. Погружено в тишину и объято



сном было длинное двухэтажное здание на углу Софийки и Неглинной. Тускло горели ночники в опустевших коридорах. Спали в дортуарах младшие воспитанницы, отдыхая от бесконечных балетных экзерсисов; дремал швейцар Ефим, сидя на обычном месте и дожидаясь времени, когда можно будет запереть дверь и уйти в свою каморку под лестницей. И только в одном дортуаре никто не спал. Собравшись в тесный кружок у комода, подруги ждали Машу. Весь вечер провели они в томительном волнении. Их не взяли в театр, но всем сердцем они были с нею.

Вот уже семь часов, спектакль начался. Маша... как ей, должно быть, страшно! Вот кончился первый акт. Еще десять, пятнадцать минут — Маша уже на сцене! Как-то встретила ее публика? Только бы не освистали! Нет, этого не может быть!

Время идет. Спектакль близится к концу. Счастливица Варя! Она уже в театре! Вот начался пятый акт. Ждать осталось недолго. Скоро, скоро они услышат скрип полозьев, и знакомый старый рыдван остановится у подъезда.

Осторожно ступая, в одних чулках пробрались они в коридор, стараясь, чтоб не заскрипели половицы, боясь разбудить кого-нибудь из начальства. Но окна были покрыты таким толстым слоем льда, что, как они ни дышали на них, как ни оттирали озябшими пальцами, разглядеть ничего не удавалось. Они по очереди взбирались на подоконник и, открыв форточку, выглядывали на улицу. Струя холодного воздуха врывалась в коридор, и не было видно ничего, кроме густого морозного тумана, от которого захватывало дыхание.

Вера Топольская не раз уже спускалась вниз, к швейцару Ефиму, но возвращалась разочарованная. Кареты не было и в помине. Воспитанницы присмирели

и сидели тихо-тихо, не разговаривая больше друг с другом. Даже «балетные» и те не спали.

— Едут! Честное слово, едут! — прошептала вдруг Варя-вторая прислушиваясь.

У нее был острый слух, она никогда не ошибалась. Все приникли к окну. Прошло несколько мгновений. Теперь уже ясно слышалось фыркание лошадей, окрик кучера. Заскрипела и хлопнула парадная дверь. Снизу донеслись приглушенные голоса Екатерины Ивановны и Ефима.

Выждав, пока удалились шаги Солонины, девочки бросились навстречу Маше.

Румяная от мороза, с заиндеветыми волосами, точно сиянием окружавшими лицо, Маша быстро бежала вверх по лестнице. От нее веяло холодом, как будто веселый мороз ворвался вместе с нею с улицы.

— Маша, ну что?

— Скорей рассказывай!

— Вызывали?

— Сколько раз?

Подруги окружили Машу, засыпали вопросами.

— Девочки, милые, — Маша не то смеялась, не то плакала, — хорошо как, боже мой! Мороз, туман, на площади костры горят! Красота какая! Дорогие мои!

— Да ты нам не про костры, ты про дебют расскажи! — чуть не плача, просила Катя Семенова.

— Подождите, девицы, дайте ей дух перевести.

— Да, да, сейчас расскажу, конечно, расскажу, боже мой! — Маша засмеялась счастливым, таким необычным для нее смехом. — Ах, девочки, дорогие мои, родные мои, если бы вы только знали, как я счастлива! Меня вызывали двенадцать раз!

— Ура! — забывая о позднем времени и об опасности, закричала Катя, и все наперебой бросились целовать Машу.

— Я тебе, тебе всем обязана, Катя! — говорила Маша.

Но Катя зажала ей рот рукой и стала целовать куда попало: в глаза, в нос, в щеки.

— Ура! — повторила она. — Да здравствует актриса Ермолова!

— Ура! — приглушенными голосами подхватили остальные.

Была уже поздняя ночь, когда все стихло в дортуаре. В который раз был выслушан путанный, взволнованный рассказ Вари Бороздиной — единственной свидетельницы Машиного успеха. В который раз заставили ее повторить все мельчайшие подробности. Спрашивали, перебивали, укоряли, целовали, снова спрашивали. Наконец уснули, закутавшись в казенные серые одеяла. Не спала только Маша. Сидя на постели, при тусклом свете ночника, она записывала в свой дневник:

«30 января 1870 года.

День этот вписан в истории моей жизни такими же крупными буквами, как вот эти цифры, которые я сейчас написала. Сбылось то, о чем я пять дней тому назад не смела мечтать. Молитва моя услышана. Я актриса!»

## УСПЕХ

В течение недели спектакль «Эмилия Галотти» был повторен несколько раз и все с тем же успехом. Маша была счастлива. Подруги ликовали.

А в школе жизнь текла по прежнему, раз навсегда установленному порядку, и положение Маши мало в чем изменилось. Впрочем, Бог-мартышка теперь уже не осмеливался преследовать ее, как прежде, за балетные неудачи, а Солонина меньше придиралась и при встре-

че только удивленно оглядывала Машу с головы до ног, как будто видела ее впервые. Ей, как и всему школьному начальству, все еще не верилось, что эта скромная угловатая девочка, которую они привыкли считать неудачницей, за одну неделю покорила всю театральную Москву.

Маша ходила как в тумане. В самые горькие минуты неудач она не теряла веры в будущее, и вот теперь, когда начали наконец сбываться ее мечты, она не могла поверить своему счастью.

В этот день — 9 февраля — репетиций не было, классы закончились рано, и воспитанницы были предоставлены самим себе. Вернувшись из бани, Маша и обе Вари сидели, по обыкновению, на своих кроватях и читали. Накануне Данилов принес Маше номер журнала «Современник», в котором была напечатана поэма Некрасова «Мороз, Красный нос». Она наслаждалась стихами любимого поэта:

Ни звука! Душа умирает  
Для скорби, для страсти. Стоишь  
И чувствуешь, как покоряет  
Ее эта мертвая тишь.

Ни звука! И видишь ты синий  
Свод неба, да солнце, да лес,  
В серебряно-матовый иней  
Наряженный, полный чудес...

Чтение ее было неожиданно прервано. С шумом и грохотом, о чем-то споря и ссорясь, прибежали и разом повалились на Машину кровать Вера Топольская и Катя Семенова.

Кровать затрещала и подалась в сторону. Маша вскочила в испуге.

— Что случилось, девочки, ради бога! — воскликнула она.

— Вот, Данилов!..— задыхаясь, сказала Катя и достала из-за пояса аккуратно сложенную газету.

— Да, Александр Львович!..— вырывая газету и тыча ею Маше в лицо, кричала Вера.

— Александр Львович? Что с ним? Что случилось? Да говорите же скорей! — Маша с беспокойством переводила глаза с одной на другую.

Вера с досадой махнула рукой.

— Да нет же, с ним ничего! Он газету тебе посылает!

— Да, «Русскую летопись», вот! — перебила ее снова Катя.

— Девицы, в своем ли вы уме? Постыдитесь! Точно маленькие! — Варя Бороздина подошла и строго посмотрела сначала на одну, потом на другую. — Ну в чем дело? — сказала она и, отняв у Кати, развернула «Русскую летопись».

— Вот, вот,— в волнении тыча пальцем, кричала Вера,— здесь читай!

— Вслух читай! — повторяла Катя.

— «Спектакль «Эмилия Галотти»...— начала Варя.

— Дальше, дальше, отсюда читай! — перебивая ее, закричали разом Катя и Вера.

Варя снова строго посмотрела на них.

— «Откровенно признаемся, когда мы прочли на афише, что роль графини Орсини взяла на себя сама бенефициантка, а Эмилию Галотти будет играть в первый раз вступающая на подмостки театра шестнадцатилетняя девушка, мы готовы были предсказать полнейшую неудачу на нашей сцене драмы Лессинга...»

— Как бы не так! — вставила Вера.

— «С большим сомнением, с некоторым даже страхом,— продолжала Варя,— ожидали мы появления Эмилии Галотти. Но лишь только вбежала на сцену дрожащая, растерянная, оскорбленная в своем женском до-

стоинстве, в своей любви к молодому графу, — лишь только, говорим мы, вбежала на сцену госпожа Ермолова, словно гора свалилась с плеч...» — Варя перевела дух и посмотрела на Машу, словно не веря и желая убедиться, что это именно она и есть та самая «госпожа Ермолова», о которой написано в газете.

А «госпожа Ермолова» сидела на кровати, поджав ноги, и, склонив по своей привычке голову набок, как во сне, слушала и силилась понять, о чем читает Варя.

— «Тревожное ожидание сменилось полным спокойствием. Юность, привлекательная наружность, грациозность и рядом с этим простота внешнего выражения самых напряженных чувств, волновавших душу молодой девушки, — все это приковало к госпоже Ермоловой слух и зрение...»

— Не слышно, ничего не слышно, громче читай! — крикнула Липа Курнакова, расталкивая столпившихся вокруг Маши воспитанниц. — Что «приковало»?

— «Слух и зрение». Молчи, Курнакова, не мешай! — сердито огрызнулась на нее Топольская.

— «В порывистом, лихорадочном рассказе об оскорбительных преследованиях принца госпожа Ермолова заставила нас забыть сцену...»

— Слышишь, Маша?

— «...Забыть сцену. Дрожь, происходившая, может быть, и от смущения при первом появлении на сцене дебютантки, была у нее так натуральна, правдива: самые взыскательные критики не нашли бы что заметить госпоже Ермоловой против сущности понимания ею этой сцены и ее исполнения. А о мелочных недостатках девушки, в первый раз выходящей на сцену, и притом в такой страшно трудной роли, говорить тут нечего. Было бы главное верно и хорошо, а подробности выработаются сами собой... Словом, первый труднейший шаг совершен, и с полным успехом!...»

— Ура-а-а! Победа!

Со всех сторон к Маше тянулись руки и душили в объятиях.

— Тише, девицы! — кричала Варя-первая, потрясая в воздухе газетой. — Это еще не все! Дайте дочитать, замолчите!

— Тише!

— Это не все!

— Дайте дочитать!

— Слушайте!

— Слушайте!

— «Но, говоря о первых успехах нашей дебютантки, — продолжала Варя, когда все успокоились, — невольно страшишься за ее будущее. Что из нее выйдет после? Зависть, невидимые преследования с одной стороны, восхваления — с другой, а поверх всего растлевающая юные таланты среда, ужасная система, которая сильнее каждого человека в отдельности, то и дело губят у нас дарования в самом зародыше. Но крепитесь, молодая дебютантка!..»

— О чем это он, девицы? Ничего не понимаю! — громко сказала Липа. — Объясните!

— Да замолчи же ты, Курнакова, дай послушать!

Варя продолжала:

— «Добросовестное служение делу искусства, тяжелый, неуклонный труд, работа долгая, многолетняя спасут вас от опасностей, и мы ничего не желали бы так сильно, как если бы и через десять лет вы сыграли с такою же правдою сцену Эмилии Галотти с матерью, как исполнили ее в этот вечер. Чтобы тот же искренний жар горел в ваших глазах и вызывал в необработанном еще голосе те говорящие сердцу ноты, какие мы слышали в этот памятный для вас вечер. А остальное придет само собой! Берегите эту дорогую искру таланта и вдохновения...»

Варя кончила.

— Работа долгая, многолетняя, — как бы про себя повторила Маша, — тяжелый, неуклонный труд, добросовестное служение искусству... Я знаю, в этом вся жизнь!

## ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

Спектакль «Эмилия Галотти» шел с неизменным успехом, даже враги должны были признать дарование молодой артистки. И только театральное начальство, казалось, не замечало этого успеха. До выпуска из училища оставалось еще полтора года, и воспитанница Ермолова по-прежнему должна была обучаться танцам. Лишь изредка ей доставались незначительные роли в Малом театре: Машенька — в комедии «Рабство мужей», Луиза — во французской комедии «Ветерок», Эмма — в мелодраме «Семья преступника». Роли эти так не подходили к ее таланту, играла она их с такой неохотой, что не могла иметь успеха.

Только две большие роли ей удалось сыграть за это время, и обязана она была этим отнюдь не дирекции театров: Фернанды в драме Сарду «Месть женщины», поставленной в бенефис Медведевой, и Марфы в «Царской невесте» Мея, которую выбрал для своего бенефиса Николай Алексеевич Ермолов.

Правдивость и сила ее игры вновь поразили публику. Воспитанница Ермолова в роли Марфы, чрезвычайно трудной не только для начинающей артистки, затмила даже знаменитую Федотову, исполнявшую в том же спектакле роль ее соперницы — Любаши.

«Глядя на г-жу Ермолову в сцене помешательства, — писал рецензент «Русской летописи», — можно только удивляться, как эта девушка сумела, благодаря лишь художественному инстинкту, выйти с честью из этой несообразности... Ни одного ложного актерского прие-



ма, ни тени лжи и декламации в тоне голоса. Все просто и верно до последнего звука. А как легко впасть здесь в обычную актерскую тривиальность! Молодость и художественный такт решительно спасли г-жу Ермолову от этого греха опытных актеров... Простота и непринужденность г-жи Ермоловой, задушевность ее интонаций представляются нам дорогим сокровищем, которое надо развивать и беречь».

Однако театральное начальство не прислушалось к советам рецензента «Русской летописи». словно испугавшись силы, проявившейся в этой неопытной девочке, оно упорно продолжало готовить из нее танцовщицу «у воды».

Наступила весна 1871 года. Начались выпускные экзамены. Разумеется, главное внимание обращено было на танцы. Но все же воспитанницы должны были сдавать и другие предметы и, в частности, русскую словесность. К экзамену ожидался директор, начальник репертуара, а также приглашены были почетные гости — Островский, Плещеев, известный педагог Басистов. Вот тут-то и повезло Маше. Инспектор посоветовал Данилову, чтобы воспитанницы к экзамену выучили наизусть по стихотворению.

— Там правила разные, грамматику — это неважно, это как знаете, Александр Львович, — сказал он ему и добавил таинственно: — Директор любит стихи! И... этак хорошенько, с декламацией прочесть, будет превосходно!..

Данилов охотно последовал совету инспектора. Он предложил воспитанницам выбрать по стихотворению, а Ермоловой, которую считал самой даровитой из своих учениц, посоветовал приготовить «Песню о рубашке» Томаса Гуда. Это, казалось ему, как нельзя более подходило к ее таланту. И он не ошибся.

«Когда Ермолова, встав, как ученица, в своем казенном платье с пелеринкой, но со своим не учениче-

ским разумением и чувством, начала читать, — рассказывал он через много лет об этих минутах, — когда она дошла до слов: «Шей, шей, шей! в нищете, исхудалая, бледная!» — и когда она сама побледнела при этих словах, когда умные и выразительные глаза ее заблестели огнем сочувствия к тем жертвам нищеты, о которых она вместе с поэтом скорбела, — все присутствующие поднялись со своих мест и, забыв, что они на экзамене, принялись аплодировать даровитой артистке... В эту-то минуту и решена была участь Марии Николаевны Ермоловой...»

Этот новый успех, видимо, поколебал даже театральное начальство. Оно отказалось от своего намерения во что бы то ни стало сделать из воспитанницы Ермоловой танцовщицу. В мае 1871 года она была выпущена на службу в драматическую труппу Малого театра.

## ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Сбылись мечты Маши Ермоловой. Наконец-то она сможет посвятить себя любимому искусству, отдавать ему все свое время, всю жизнь, ничто постороннее не будет ей больше мешать. Она едва верила своему счастью. Она — артистка Малого театра! Разве могла она предвидеть, что именно теперь начнется едва ли не самая трудная полоса в ее жизни?

Чем же разочаровал Марию Николаевну Малый театр, к которому она с детства стремилась? Малый театр, который воспитывал целые поколения, о котором москвичи говорили: «Мы ходили в гимназию, а учились в Малом театре».

Начало 70-х годов — время, во многом еще сохранившее освободительные идеи предыдущего десятилетия, но уже носившее следы глубоких разочарований. Все

явственнее ощущается реакция. Реакционную политику проводило и министерство двора, в ведении которого находились императорские театры.

Из репертуара Малого театра вытесняются реалистические пьесы, запрещаются пьесы сатирические, изобличающие русскую действительность. В угоду вкусам купеческой, мещанской публики сцену заполняют пустые водевили, пошлые мелодрамы, по большей части переводные или принадлежащие перу авторов, по каким-либо причинам угодных начальству.

И дирекция Малого театра, не считаясь с особенностями таланта Ермоловой, продолжает, как и до выпуска из училища, держать ее на пустых, ничтожных ролях в комедиях и мелодрамах. Машенька — в «Карьере», Машенька — в «Рабстве мужей», Машенька — в «Бельэтаже и подвале», Юленька — в «Странном стечении обстоятельств», Фофочка, Софи, Лелечка, Наденька — чего только не приходилось ей играть! В одной пьесе в продолжение целого акта она должна была молча сидеть на сцене, в то время как другая артистка расчесывала ей волосы, — в этом заключалась вся роль.

А за кулисами то и дело слышались язвительные шуточки, насмешки. Да и рецензии того времени полны упреков: в отсутствии грации, угловатости движений, монотонности и грубости голоса.

Маша и сама ясно видела свои недостатки. С детства знала она, что дело актера — бесконечно трудное дело и что даже великий талант нуждается в неустанной работе. Часами простаивала она у зеркала, добиваясь пластичности движений, разнообразия в мимике. Но вся эта работа пропадала напрасно — в мелких, ничтожных ролях, которые выпадали на ее долю, невозможно было показать свое дарование, а как получить настоящую роль, Маша не знала. Она приходила в отчаяние, начинала терять веру в себя.

Только привязанность Медведевой поддерживала ее в это тяжелое время. Надежда Михайловна защищала от закулисных интриг, поручала ответственные роли в своих бенефисах. Доставались Маше роли и в редкие бенефисы отца, но, к ее огорчению, вкусы их по-прежнему резко расходились. Николай Алексеевич выбирал большей частью напыщенные мелодрамы, казавшиеся в дни его молодости интересными и содержательными. Так, после «Царской невесты» поставил он в свой бенефис «Парашу-Сибирячку» Полевого — пьесу фальшивую, не способную взволновать ни зрителей, ни исполнительницу. Сколько ни спорила Маша с отцом, убеждая, что роль эта ей не подходит, Николай Алексеевич упрямо стоял на своем. И, как всегда, пришлось подчиниться воле отца, заранее обрекая себя на неудачу.

Рецензия на спектакль появилась в журнале «Развлечение»:

«Параша-Сибирячка и Ермолова-Москвичка! Давно отжившая старая мелодраматическая героиня и начинающая свою сценическую жизнь молодая артистка! Что общего может быть в этих двух разнохарактерных существах?

На сценическом поприще г-же Ермоловой первый камешек подставлен ее отцом. Твердо выступив перед театральным светом в грандиозной Эмилии Галотти, молодая артистка принуждена была споткнуться в тщедушной, истасканной Параше-Сибирячке.

Неужели почтенный суфлер не мог сообразить, что для юного, не окрепшего еще таланта напыщенная, мелодраматическая роль может быть пагубна? Неужели сама г-жа Ермолова не могла обдумать, что в Параше-Сибирячке совсем нет драматичности и есть только драматическая напыщенность? Этой ролью у молодой артистки отнято было самое лучшее, самое дорогое до-

стоинство ее таланта, отнята была простота, та художественная простота, которая составляет главную и существенную прелесть ее дарования».

Что могла ответить Маша Ермолова на упреки рецензента? Она и сама была с ним согласна.

## ИЗ ДНЕВНИКА

27 сентября 1871 года.

Я верно предчувствовала, что мне не будет никакой свободы. О, я гораздо связанней, чем в школе. Здесь я нахожусь под тяжелым гнетом, а выбиться из-под него нет сил.

29 сентября.

Вчера не записала день, потому что ночевала у Надежды Михайловны... Утром читала с ней роль Элизы. Первый акт совсем почти переделан: теперь я очень вижу, как я была слаба в этой роли. Только дай бог мне сыграть ее хорошенько, эту роль; а то нынешний год точно какой сильный ветер сбил меня с ног — я только и играю одни маленькие роли... Но Надежда Михайловна говорит: «Терпите и ни на что не обращайтесь внимания». Я так и делаю. Просить и вымаливать ролей я себе никогда не позволю...

Спать еще не хочется — папаша страшно кашляет...  
...Лучше бы мне, право, умереть — только бы сыграть «Коварство и любовь».

Дай бог, чтобы поскорей пятница — играть мне так хочется, и вдруг отменяют.

30 сентября.

Нынче записывать, ей-богу, нечего. Ходили в баню, мыли полы у нас: вот все, что было замечательного. Как-то я завтра сыграю?

1 октября.

Ах, как я нынче недовольна собой, все бы ничего, играла недурно, только соврала в последнем акте, и оттого Шумский опоздал и рассердился на меня. Принимали отлично. Господи, господи, ждала я этого дня с таким нетерпением. Впрочем, что же? Все почти было хорошо; только Шумский сказал, что лучше бы мне в своих волосах остаться, чем играть в безобразном парике...

Скоро, скоро, должно быть, наступит мой отдых; скоро я ничего не буду больше играть...

Поскорей бы на новую квартиру, а то такая теснота, что ужас...

2 октября.

Нынешний день я все училась по-немецки и играла на фортепиано, а вообще он прошел так же однообразно, как и все другие. Скучно так жить. И нет силы, нет воли переменить эту жизнь, а главное, нет характера. Что мне жизнь дает, то я и беру от нее, сама не могу ничего сделать...

10 октября. Воскресенье.

Я нынче так счастлива, так довольна. О, блаженный день, я играла Эмилию Галотти... Вот в этой роли, когда я играю ее, я чувствую в себе что-то такое, огонь какой-то, я увлекаюсь, я все забываю, только именно в этой роли. Да она одна и есть мне по сердцу, моя любимая. Нынче я хорошо играла. Принимали великолепно...

Была у Надежды Михайловны после «Параши-Сибирячки». Вот милая-то пьеска, когда-то она провалится?

15 октября.

Уже поздно, а мне бы много нужно написать. Высказаться хотя самой себе. Как тяжело у меня на сердце,

гнет какой-то... Мне, право, стыдно выйти на сцену... Впрочем, что же? Если уж я так поставлена, что мне или не играть ничего, или играть вот подобные роли, ведь мне другого выбора нет.

16 октября.

Сегодня мы переезжали с квартиры. Перебрались и устроились довольно мило. У меня миленькая комнатка. Нынче я уговорилась с папашей отдавать ему каждый месяц 20 рублей.

31 октября. Воскресенье.

Наконец я прихожу к убеждению, что нет на свете... такой дуры, как я... Я всю жизнь буду спать и только спать, что за проклятый характер. Сижу по целым дням сложа руки да думаю, должно быть, не придет ли кто-нибудь да не скажет ли: «Не угодно ли вам сыграть «Ошибки молодости» — или что-нибудь подобное. Как еще Надежда Михайловна до сих пор возится со мной?.. Сижу, молчу по целым дням, как убитая... Во мне что-то такое таится, гнездится. Я сама не понимаю, но меня душит что-то, мне нужно высказать, чтоб она знала, что я такое...

Теперь вся моя надежда на ее бенефис, и я боюсь, что лишусь этой надежды, потому что она, кажется, хочет дать «Скопина-Шуйского», где мне нет роли... Как тогда долго придется ждать и терпеть!

2 ноября.

Сейчас проходила роль из «Ошибки молодости». Господи, как мне хочется это играть! Нет, конечно. Будет спать! Буду приставать к Пельту, ко всем, к кому только можно. Эта бы роль просто воскресила меня... а то я уж так низко упала... Мне уже восемнадцать лет... года уходят, а я все еще ничего не делаю.

5 ноября.

Недавно меня спросили, почему я люблю драматическое искусство. Сознаю ли, что приношу пользу, или меня к этому побуждает тщеславие, аплодисменты... Я ничего не могла ответить, потому что серьезно над этим никогда не думала, а попробую ответить себе. Я бы желала, чтоб бедный человек уходил из театра с мыслью, что есть хорошая другая жизнь, или, сочувствуя страданиям актрисы, он бы забывал свои страдания, свое горе; я бы желала, чтоб он смеялся от души и забывал, что он в театре. Вот почему я люблю искусство. Желаю от всей души приносить пользу, но приношу ли?.. не знаю. Но и мне совсем не неизвестно тщеславие. Я люблю, когда аплодируют мне, если только эти аплодисменты вызваны искренним сочувствием мне... ко всему этому присоединяется чувство удовольствия, когда я на сцене. Незаметным образом я иногда переживаю чужую жизнь.

## ВЛАДЫКИНСКИЙ КРУЖОК

Так шли трудные годы после блистательного дебюта. Жилось теперь легче, чем прежде. Машино скромное жалованье оказалось все же большим подспорьем для семьи. Из подвала переехали в верхний этаж. Лето стали проводить за городом.

Аннета — Анна Николаевна — зарабатывала уроками. Она окончила гимназию с золотой медалью и училась теперь на Лубянских женских курсах. Целые дни проводила она на лекциях, на уроках, а по вечерам, возвратившись домой усталая, но радостная и оживленная, делилась с сестрой всем, что ее так волновало.

Маша с удивлением смотрела на хрупкую фигурку



сестры, энергично расхаживавшей с заложенными за спину руками по их маленькой комнатке, — так ново было для нее все, что она слышала из ее уст.

Глядя вокруг рассеянным взглядом, Аннета рассказывала о том, что она решила посвятить свою жизнь делу женского образования, о том, как оно необходимо, о том, что настала пора освободить женщину и вывести ее из тесных рамок семьи.

— Ты подумай, Маша, — говорила она, — сколько пользы может принести народу женщина-врач или женщина-педагог, сколько сил, способностей пропадает даром! А какое это будет счастье для женщины, когда она, работая наравне с мужчинами, будет сознавать, что она равноправный член общества!

Запершись в комнате, когда отца не было дома, сестры с жадностью читали запрещенные книги, которые откуда-то приносила Аннета. Впрочем, и на отца Аннета смотрела теперь смелыми глазами — Николай Алексеевич сам начинал чувствовать, что она постепенно уходит из-под его власти. А Александра Ильинична только вздрагивала от ужаса, когда раздавался звонкий голос Аннеты:

— Ты не прав, отец!

Маша с горячим вниманием прислушивалась ко всему, о чем говорила сестра. Казалось, теперь сама жизнь столкнула ее с тем, о чем она в школе имела лишь смутное представление. И вот со всем пылом юности принялась она пополнять свои знания. Все свободное время она отдавала чтению. Ее глубоко интересовала история, в особенности русская. Иные события так волновали ее, что подчас сестра заставляла ее в слезах — то ли над описанием жизни Мстислава Удалого, то ли над историей Богдана Хмельницкого. Вместе с Варей Кудрявцевой — Маша и ее увлекла своим примером — они посещали лекции по истории, литературе, искусству.



Саша Наврозов, участник ее детских игр, теперь студент-юрист, познакомил ее со своими товарищами.

В квартире Ермоловых появились новые люди, зазвучали неслыханные дотоле речи. Николай Алексеевич подозрительно косился на длинноволосых, закутанных, по тогдашнему обычаю, в пледы студентов, подозрительно прислушивался к их разговорам, а потом и вовсе запретил собираться у себя на квартире. Ослушаться отца Маша не решалась, но встречи с друзьями продолжались: зимой — на квартире у Топольской, а летом — во Владыкине, живописном селе, расположенном в березовой роще на берегу речки Лихоборки. Николай Алексеевич выезжал теперь туда с семьею на дачу. Он был страстный рыболов, а рыбы в Лихоборке водилось много.

Молодые люди, друзья сестер Ермоловых, издалека обходили неподвижно застывшую фигуру рыболова — они уже были хорошо знакомы с его строгим нравом. И только иной храбрец отваживался заговорить, надеясь снискать его благосклонность:

— Что, клюет, Николай Алексеевич?

Но неохотно отвечал рыболов, а то и вовсе не отвечал, не отрывая пристального взгляда от поплавка или сердито закидывая удочку подальше.

Однако, несмотря на явное недовольство отца, у дочерей продолжала собираться молодежь. Подруги Маши — Топольская, Варя Кудрявцева, Аня Аристова, по долгу гостившие на даче; снимавший на соседнем дворе сарай артист Малого театра Михаил Валентинович Лентовский — юноша с черными вьющимися волосами и черными, как у цыгана, глазами; Николай Петрович Шубинский, молодой талантливый адвокат, помощник знаменитого Плевако, находившийся в ту пору под надзором полиции за «вольные мысли», которые он открыто высказывал; студенты Николай Яковлевич Фалин и Семен Иванович Васюков, проводившие летние каникулы во Владыкине, где на фабрике жили родители Фалина. Фалин, бледный, с задумчивыми глазами, поражал товарищей начитанностью, осведомленностью в рабочем вопросе. Он был не по летам серьезен и пользовался большим уважением остальных членов владыкинского кружка. Судьба этого юноши сложилась трагически. Через несколько лет в Петербурге во время демонстрации он был арестован, потом сослан в Сибирь на поселение и кончил свои дни в психиатрической больнице. Семен Иванович Васюков также впоследствии был арестован и сослан.

Мария Николаевна, уже будучи знаменитой артисткой, хлопотала о нем.

Маленький владыкинский кружок собирался у са-

рая, где жил Лентовский. Выносили во двор столик, скамейку, расстилали на земле плед; подавался самовар, сушки, фисташки, и начинались бесконечные горячие споры. Часто друзья все вместе отправлялись на прогулку в поле, к старой мельнице или на кладбище. Здесь было пустынно, никто не мешал, и можно было на свободе говорить о политике, литературе, искусстве, читать стихи, петь революционные песни.

## ЛЮБИМИЦА МОЛОДЕЖИ

Так началась новая полоса в жизни Ермоловой. Почти каждую неделю она участвовала в благотворительных студенческих вечерах и концертах, и молодежь с горячим нетерпением ждала ее появления. Сборы с этих вечеров тайно шли на помощь политическим ссыльным, и Марии Николаевне это было хорошо известно. Театральное начальство далеко не всегда разрешало «казенным» артистам выступать в этих концертах, и тогда таинственные три звездочки появлялись на афише вместо фамилии Ермоловой. Но студенты и курсистки уже прекрасно знали, кто скрывается под этими звездочками.

Утренняя почта приносила Марии Николаевне груду писем, в которых молодежь выражала ей свою любовь, уважение, благодарность. Одно из таких писем она особенно бережно хранила.

«Ермолова! В вечер 14-го числа вы доставили много и много нам наслаждения. Мы не считаем нужным сдерживать себя от письменного выявления глубокого уважения к вашему таланту.

Мы уважаем вас.

Студенты Николай Михайлов, Николай Соколов». Стихи Плещеева, Огарева, Полонского, Некрасова

звучали в устах Ермоловой как протест против гнета и насилия, как гимн свободе. Она читала стихотворение Плещеева:

Вперед! без страха и сомненья  
На подвиг доблестный, друзья!

И в этих словах слышался призыв к борьбе. Она читала «Узницу» Полонского, и все знали, что стихотворение это посвящено Вере Засулич. Она читала «Идет-гудёт Зеленый Шум» Некрасова, и всем становилось ясно, о каком «зеленом шуме» идет речь. Она читала «Реквием» Пальмина, и голос ее звучал как похоронный марш по погибшим революционерам и призывал к борьбе:

Не плачьте над трупами павших бойцов,  
Погибших с оружием в руках,  
Не пойте над ними надгробных стихов,  
Слезой не скверните их прах!  
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,  
Отдайте им лучший почет:  
Шагайте без страха по мертвым телам,  
Несите их знамя вперед!

Случалось, что на другой день после концерта Марию Николаевну вызывали в жандармское управление.

## У ТОПОЛЬСКОЙ

Тесная квартирка Топольской полна народа. Здесь студенты, курсистки, старые школьные подруги Веры. Здесь Николай Петрович Шубинский, Семен Иванович Васюков, Михаил Валентинович Лентовский.

Из маленькой столовой выносят лишнюю мебель, сдвигают столы, расставляют стулья. Это одна из тех вечеринок в складчину, которые часто устраиваются у

Веры. Груда пакетов растет на буфете — каждый пришедший приносит свою долю. Сама хозяйка, раскрасневшаяся и оживленная, хлопочет, распоряжается и в то же время внимательно прислушивается к спорам гостей. Из прежней девочки, задорной и веселой, она превратилась в серьезную, энергичную девушку. Волосы гладко зачесаны назад, и две коротенькие беленькие косички уже не поднимаются торчком, когда она решительно встряхивает головой. Но для подруг это все та же Вера, которая клялась, что «балетные черти» бушуют в душе Манохина или «соленые» — в душе Сгодинины.

Она одобрительно кивает, прислушиваясь к пылкой речи, которую произносит маленький белокурый студентик, с розовыми, поросшими светлым пушком щеками. Забывая о роли хозяйки, Вера вступает в горячий спор о том, какую деятельность надо выбирать, чтобы быть полезным народу, о том, как бороться с темными силами реакции, с предрассудками и, наконец, с собственным страхом перед всякой новизной...

Взгляд ее вдруг падает на часы. Стрелка показывает восемь. «Где же Маша? — вспоминает она. — Все уже в сборе, только она запаздывает. На сегодня назначена была репетиция «Грозы». Наконец-то ей обещана роль Катерины».

Из соседней комнаты доносятся звуки рояля. Это играет Варя Кудрявцева. Исполнилась мечта ее детства — она учится в консерватории.

Ее слушают с восхищением. Васюков не отрываясь смотрит на нее, а Варя краснеет, встречаясь с ним взглядом. Неожиданно она прерывает игру и с беспокойством прислушивается к голосам, доносящимся из столовой: «Что с Машей? Отчего она не идет? Как прошла репетиция? Ведь Маша так давно мечтала о роли Катерины! Она прекрасно исполняла ее еще у комода...»

— Варенька, сыграйте еще!

— Варвара Михайловна, пожалуйста!

И, стараясь успокоиться, Варя берет несколько шумных аккордов.

Между тем на кухне, напевая вполголоса, Катя Семенова готовит бутерброды. Развернутые пакеты лежат перед нею на столе.

«Восемь часов, а ее еще нет. Быть может, неприятности в театре? Но ведь ничего не может случиться. Надежда Михайловна говорила, что сам Пельт обещал Маше роль Катерины...»

И, задумчиво улыбаясь, Катя вспоминает, с каким волнением ждала она возвращения Медведевой с первой репетиции «Эмилии Галотти», как гадала на картах с Елизаветой Кузьминичной и Акулиной Дмитриевной... Надо непременно навестить старушек. Она так давно не была у них.

Но вот наконец слышится знакомый стук в дверь. Подруги окружают Машу, крепко обнимают ее.

— Что так поздно? Все уже собрались, только тебя ждем!

— Мария Николаевна пришла!

— Машенька!

— Наконец-то!

Гости выбегают навстречу Марии Николаевне.

— Машенька, как репетиция?

— Мария Николаевна, когда спектакль?

Но Мария Николаевна грустно качает головой.

— Репетиции не было, — тихо говорит она. — «Гроза» пойдет десятого в Большом театре, и Катерину играет Федотова.

— Не может быть!

— Почему?

— Ведь обещали... Как же так?

— Не знаю... Мне сказали в конторе, что в этот ве-

чер я занята в Малом, в пьесе «Странное стечение обстоятельств».

В этой пьесе у Марии Николаевны была очень маленькая роль.

— Господа, надо протестовать!

— Это несправедливо!

— Протестовать! — яростно кричит давешний маленький студентик и в воинственной позе выбегает на середину комнаты.

В глазах Марии Николаевны неподдельный испуг.

— Прошу вас, господа, ни о каком протесте не может быть и речи! От этого пострадает только Федотова. Не она виновата, что контора нарушает свои обещания. Уверяю вас, Федотова не имеет об этом никакого понятия. Я слишком уважаю ее талант и не хочу, чтобы у нее были из-за меня огорчения!

— Успокойтесь, Мария Николаевна, — говорит Шубинский, — ничего плохого не произойдет, если студенты выразят вам свое сочувствие и уважение. А Саша вовсе не такой воинственный, как это кажется с первого взгляда. Лучше попросим его прочитать стихи, которые он посвятил вам, ведь вы их еще не знаете.

Студентик краснеет и смущенно бормочет что-то, потом откашливается и начинает читать:

Вы всех нас восхитили равно,  
Наш брат родную в вас признал.  
Вы — наша, Марья Николавна,  
Вы — молодежи идеал.

— Спасибо, Саша, от всей души спасибо. Я, право, не стою этого... — говорит Мария Николаевна. Она улыбается через силу, не желая омрачать общего веселья.

И снова начинаются шумные споры о том, как заставить театральное начальство сдержать слово, которое было дано Марии Николаевне.



Между тем в маленькой гостиной, в тесном углу между окном и фортепьяно, слышатся два голоса — женский усталый и мужской уверенно-спокойный.

— Не грустите, Машенька, вы получите эту роль.

— Ах, боже мой, да ведь не в этом дело! Каждый день я играю старые роли, игранные по сто раз, и театр уж не производит на меня того впечатления, что прежде. С каждым днем он теряет для меня свое обаяние. Я стараюсь убедить себя, что это не так, что это лишь временное, внешнее, но что я могу сделать, если это внешнее вторгается в мою жизнь. И это теперь, когда я чувствую, что во мне зародилось что-то новое, стойкость какая-то или, я боюсь сказать, сила! А жизнь уверяет меня, что я ни на что не годна, никому не нужна...

— Полно, вы не имеете права говорить и даже думать так о себе! Ваше искусство высоко ценит молодежь! Вспомните: «Вы — наша, Марья Николаевна, вы — молодежи идеал». — Шубинский с улыбкой кивает на маленького студентика.

Но Мария Николаевна смотрит не улыбаясь.

— Быть может, я должна уйти из театра? Сама не знаю, почему все дается мне труднее, чем другим. Вероятно, потому, что ко всему я невольно отношусь серьезно.

— Поверьте, вы бы умерли от тоски, если бы бросили сцену. Вы не должны поддаваться этой пришедшей в горькую минуту мысли.

— Да, быть может, вы правы... Вы всегда так ясно судите обо всем, и мне становится легче после разговора с вами.

И долго еще в маленькой гостиной слышатся два тихих голоса, заглушаемых шумом горячих споров.

На другой день весть о том, что Ермоловой не дают роли Катерины, что ее «затирают», разнеслась по университету — и в каждой аудитории, в коридорах, на лестнице загорались горячие споры.

— Ермоловой не дают играть, потому что знают, как любит ее молодежь! Это ясно!

Мгновенно был разработан план действий. Студенты становились в очередь за билетами в Малый театр, брали деньги взаймы, закладывали и продавали вещи...

И вот наступил день, о котором долго потом вспоминали московские зрители.

В Малом театре шла пьеса Редкина «Странное стечение обстоятельств». Ни имя автора, ни пьеса не пользовались любовью молодежи. Почему же сегодня такой необычайный наплыв зрителей? Что могло привлечь внимание студентов? Ими заполнена не только галерка, но раскуплено много дорогих мест — в ярусах, бельэтаже и даже в партере. Служители недоумевали, тем более что зрители, казалось, обнаруживали полное равнодушие к тому, что происходило на сцене.

Так прошел первый акт, второй, третий. Появилась Ермолова, и вдруг это мнимое равнодушие сменилось такими аплодисментами, что казалось, стены не выдержат и рухнут.

Давно уже кончился последний акт, а публика не расходилась. «Браво, Ермолова!» — неслись оглушительные крики, и актеры с удивлением прислушивались к этой, все разрастающейся буре восторга.

Чем могла поразить сегодня публику молодая актриса? Ведь у нее была такая маленькая, ничтожная роль!

Семнадцать раз поднимался занавес, семнадцать раз Ермолова выходила на сцену, а публика продолжала неистовствовать.

И все же роль Катерины Мария Николаевна получила не скоро, и то лишь потому, что Федотова заболела и надолго уехала в отпуск.

Роли ее были распределены между другими актрисами. Катерина досталась Ермоловой, и снова, как перед дебютом, за кулисами поднялась настоящая буря.

Слухи о закулисных интригах ходили по всей Москве. В юмористическом журнале «Будильник» помещена была карикатура, под названием «Закулисная гроза». На рисунке изображена была Ермолова, входящая за кулисы. В одной руке — тетрадь с надписью: «Гроза». Роль Катерины». Другой рукой она открывает дверь за кулисы. Но не тут-то было! Актрисы изо всех сил держат дверь, не пропускают Ермолову.

«Бенефисы, разовые, гардеробные, — написано под картинкой. — Ветеранки! Нет, дерзкая, не удастся тебе пройти, не пустим!!!»

Однако «ветеранкам» пришлось смириться. Ермолова сыграла Катерину, поразив зрителей совершенно новым толкованием этой роли. Актрисы, исполнявшие ее прежде, изображали Катерину и трогательной, и затравленной, но никому не удалось с такой силой показать ее одиночество в окружающем ее «темном царстве».

В толковании Ермоловой у Катерины не хватает сил, чтобы бороться с этой средой, но она не подчиняется ей, а побеждает — если не в жизни, то самой своей смертью.

— «Долго ль еще мне мучиться? Для чего мне теперь жить? Ну для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет божий не мил! А смерть не приходит».

Сдержанно произносила эти слова Ермолова, и чем сдержаннее была ее игра, тем величественнее в своем одиночестве вырастала перед зрителями русская женщина.



## С Л А В А

### ПЕРВЫЙ БЕНЕФИС

Шесть лет минуло после дебюта. Театральное начальство решило, что настала пора предоставить артистке Ермоловой бенефис. Наконец-то явилась возможность выбрать роль по своему желанию и вкусу. Задача, однако, оказалась нелегкой. На чем остановить свой выбор? Как найти роль, которая соответствовала бы ее стремлениям и идеалам?

На помощь пришли новые друзья Марии Николаевны. Вскоре после «Грозы» она познакомилась с профессором Московского университета Николаем Ильичом Стороженко, известным исследователем Шекспира. Он сделался частым посетителем домика у Спаса в Каретном ряду. Они говорили о литературе, о театре. Он стал приносить ей книги. Мария Николаевна много читала, внимательно прислушивалась к тому, что говорил Стороженко.

Однажды она попросила дать ей что-нибудь почитать по теории сценического искусства, и Стороженко принес книжку знаменитого французского актера Тальма. Мысли Тальма поразили Марию Николаевну.

«Моральные качества у актера трагического должны иметь бóльшую силу, чем у актера комического...

На высших своих ступенях страсть не повинуется правилам грамматики. Она не обращает внимания на точки и запятые и переставляет их по своей воле...»

Возвращая книжку Николаю Ильичу, Мария Николаевна сказала, что каждый актер должен знать ее наизусть.

И вот теперь, когда нужно было решить серьезный вопрос о пьесе для бенефиса, первый человек, к которому она обратилась за советом, был Стороженко. Николай Ильич много думал над этим вопросом и, в свою очередь, посоветовался со своим старым другом Сергеем Андреевичем Юрьевым, который — он знал это — также высоко ценил талант Ермоловой.

Юрьев был человек очень известный среди тогдашней московской интеллигенции. Философ и поэт, переводчик, журналист и ученый, он был страстным любителем театра и придавал ему огромное культурное значение.

Сергей Андреевич был постоянным гостем Малого театра. На каждом новом спектакле можно было видеть

его высокую согбенную фигуру с зачесанными назад редкими седыми волосами. Всегда он был окружен молодежью — она невольно тянулась к этому старику с душою юноши. Он казался живым звеном между двумя поколениями. Его любили за бескорыстие, горячность, даже за рассеянность, анекдоты о которой ходили по всей Москве.

О нем рассказывали, что однажды, находясь в гостях у Стороженко, он так долго не уходил, что хозяин наконец вынужден был намекнуть на поздний час. Юрьев обрадовался: «Да ведь вам еще и до дому далеко!» — сказал он и, дружески взяв хозяина под руку, направился с ним в переднюю. Он был уверен, что Николай Ильич у него в гостях, и, в свою очередь, намеревался напомнить о позднем времени засидевшемуся другу...

С первого же появления Марии Николаевны на сцене Юрьев угадал в ней талант. Он познакомился с нею и до конца своих дней оставался ее другом и наставником.

Юрьев живо откликнулся на просьбу Стороженко и предложил прочитать Марии Николаевне переведенную им пьесу, которая, по его мнению, вполне подходила к ее таланту и которую она непременно должна поставить в свой бенефис. Эта радостная весть была немедленно ей сообщена.

В морозное зимнее утро Николай Ильич заехал за Юрьевым, чтобы отвезти его к Марии Николаевне. Как было условлено, она ждала их к двенадцати часам, «к кофе». Друзья ехали долго. По дороге Юрьев заезжал в несколько домов — на Никольскую, на Поварскую, возвращался за оставленным кашне и каждый раз забывал, что в санях его ждет и мерзнет Стороженко. Только в третьем часу они добрались до домика в Спаском переулке. Кофе давно простыл, отчаявшаяся хозяйка уже перестала ждать. Сергей Андреевич долго

возился в передней, снимая шубу, громко приветствуя своим могучим голосом Марию Николаевну.

Наконец друзья уселись вокруг стола и чтение началось.

Юрьев читал с чувством, с воодушевлением, он был особенно в ударе. И тем не менее пьеса — это была драма Лопе де Вега «Звезда Севильи» — показалась Марии Николаевне малоподходящей.

Впрочем, Сергей Андреевич не дочитал до конца. Дойдя до третьего акта, он хлопнул себя по лбу и сказал неожиданно:

— Да что же это я читаю? Ведь у меня есть для вашего бенефиса совсем другая пьеса Лопе де Вега... В ней вы будете великолепны! Я заканчиваю работу над ее переводом. К бенефису как раз поспеет!

Юрьев сдержал слово. Он привез Марии Николаевне другую пьесу, и это было как раз то, что она так упорно искала.

Конец XV века. Испанский поселок «Овечий источник». Жители — крестьяне, добродушные и миролюбивые, высоко ценящие свое человеческое достоинство. Более столетия не знают они крепостной неволи. И вот поселок попадает под власть надменного, жестокого командора дона Фернандо Гомеца. Он издевается над жителями, оскорбляет их. Своими преследованиями он мучает Лауренсию, дочь старшины, — чистую, прекрасную девушку. Во время свадьбы Лауренсии солдаты врываются в поселок, уводят в тюрьму ее жениха, избивают на ее глазах отца. Вне себя Лауренсия бросается на командора, хочет убить его. Но солдаты схватывают ее и уносят.

Народ волнуется. Вечером в доме старшины — отца Лауренсии — крестьяне собираются на тайный совет. Уже слышатся призывы к восстанию против тирана, но более осторожные возражают, пытаются найти мирный

выход из положения. Неожиданно появляется Лауренсия, которой удалось бежать от своего мучителя. Она обращается с пламенной речью к односельчанам, призывая их к восстанию. Воспламененный ее речью народ устремляется к дворцу командора, убивает его и восстанавливает свою свободу.

Таково содержание драмы Лопе де Вега «Овечий источник».

Народ, яростный и в то же время добродушный, изображенный с правдивостью и мудростью; благородство, которым проникнута пьеса; образ Лауренсии, сочетавший героизм с нежностью и чистотой, — все это как нельзя более соответствовало вкусам Марии Николаевны. Она горячо принялась за новую роль.

Сергей Андреевич принимал в ее работе самое близкое участие. Подолгу длились их беседы, превращавшиеся подчас в лекции о политической жизни Испании конца XV века.

Когда начались репетиции в театре, Юрьев присутствовал на них неотлучно, и поддержка его была тем более важна для Марии Николаевны, что ей снова пришлось преодолевать недоброжелательство труппы.

Юрьева упрекали в том, что он губит хорошую пьесу, отдавая главную роль такой молодой артистке. Знаменитый Шумский наотрез отказался участвовать в спектакле, и Сергею Андреевичу стоило большого труда добиться его согласия. На репетициях Шумский всячески выказывал Марии Николаевне свою неприязнь, и до ее слуха не раз долетали его язвительные замечания.

В эти тяжелые минуты, когда Мария Николаевна уже готова была отказаться от роли, приходил на помощь Юрьев. Искренне веря в ее талант, он старался поддерживать эту веру в ней самой и умолял ее не падать духом.

— Запомните мои слова, Мария Николаевна, — повторял он ей, — этой ролью вы завоюете театр!



...Бенефис был назначен на 8 марта 1876 года, но еще задолго до этого дня студенты дежурили по ночам, чтобы достать билеты.

Публика в этот вечер съехала в театр рано. Оживление чувствовалось в зале. И вот медленно поднялся тяжелый занавес — долгожданный спектакль начался...

В третьем акте Ермолова — Лауренсия, бледная, с распущенными волосами, в изодранном подвенечном платье, появляется на сходке в доме отца:

Трусливыми вы зайцами родились!  
Вы дикари, но только не испанцы!  
На вольную потеху отдаете  
Вы ваших жен и дочерей тому,  
Кто их захочет взять. К чему вам шпаги?  
Вам веретена в руки!..

Не помня себя, чувствуя, что еще мгновение — и она задохнется от волнения, Ермолова произносила этот страстный монолог. Это была минута, когда весь театр, переполненный людьми, жадно слушавшими каждое ее слово, не отрывавшими глаз от сцены, увидел перед собой не испанскую девушку, обращавшуюся к испанским крестьянам, а русскую, призывавшую русских к борьбе с произволом. И когда отец Лауренсии ответил на ее призыв: «Иду на лютого тирана!» — что-то невиданное и неслыханное началось в стенах Малого театра. Крики «браво» смешивались с революционными возгласами; курсистки, рыдая, обнимали друг друга.

А за сценой, прислонив седую голову к кулисе, слушал и не верил своим ушам Сергей Андреевич. Всего лишь несколько минут назад, здесь же за кулисами, Ермолова, бледная, дрожащая, уверяла его, что не в силах произнести ни одного слова из этого монолога, и просила, чтобы он разрешил ей пропустить хоть те слова, которые ей особенно не удавались.

И вот теперь именно эти слова с огромной силой и страстью вырывались из ее уст.

— Браво, Ермолова!

— Благодарим, Ермолова! Наша Ермолова!..

Студенты остановили карету, в которой возвращалась домой Мария Николаевна, выпрягли лошадей и сами довели любимую артистку до дому. Разбуженные обитатели Спасского переулка с изумлением смотрели из окон на это необычайное триумфальное шествие. Растерявшаяся полиция даже не пыталась остановить его. Ни полиция, ни театральное начальство, разумеется, не могли ожидать, что пьеса испанского драматурга, умершего много лет назад, станет в исполнении Ермоловой страстным призывом к восстанию.

Впрочем, ошибку поспешили исправить. Очень скоро пьеса была снята с репертуара.

## ЗАКОЛДОВАННЫЙ МИР СЦЕНЫ

В этот вечер в Малом театре давали «Бориса Годунова». Марину Мнишек играла Ермолова. Шли вызовы. Мария Николаевна смущенно раскланивалась. Она была недовольна собой. Давно уже отошла она от этой роли, когда-то такой любимой. В антракте, сидя перед зеркалом в своей уборной, она глубоко задумалась. Далекое детство вспомнилось ей, «сцена у фонтана» в маленьком домике у церкви Спаса, жалкие горшки с геранью и гвоздикой, изображавшие сад. Саша Наврозов на коленях перед нею, зрители на широком диване — маленькая Саня, мама... Как давно все это было! Мама состарилась, Саня уже актриса. Сама Мария Николаевна играет на сцене Малого театра, на той самой сцене, на которой впервые из суфлерской будки увидела вдохновенную игру великих актеров... Она замужем, у нее

уже четырехлетняя дочь. Ее муж — Николай Петрович Шубинский, теперь известный адвокат... Письмо, которое незадолго до свадьбы она написала своему будущему мужу, вспомнилось ей:

«...Я хотела во что бы то ни стало завоевать свое счастье... Я чувствовала, что такая, как я есть, — я не стою вас, что я, может быть, разобью вашу жизнь своим непониманием ее, что я слабее вас во сто крат... Тогда я сказала себе: до тех пор, пока я не наберусь достаточно сил, чтобы идти с ним об руку, пока я не дорасту до ясного понимания всех сторон жизни, пока не приобрету своих убеждений, которых не сломит никакая сила, — до тех пор не буду принадлежать ему... Исполню ли мою задачу, — не знаю, я боюсь за себя и мало верю в себя».

Ей казалось, что нужно стать совсем другой — сильной, уверенной в себе, ясно представляющей цель и смысл жизни, для того чтобы быть достойной любимого человека. К семейной жизни, в которую она вступала, она относилась с глубокой серьезностью. Но завоевала ли она свое счастье?..

В дверь постучали. Вошел актер Музиль — худощавый с нервным лицом и быстрыми изящными движениями. Мария Николаевна обрадовалась ему. Она любила Николая Игнатьевича за доброту, за сердечное отношение к товарищам и ценила его мягкий юмор и тонкую наблюдательность. Они сходились во взглядах и при встречах делились друг с другом тем, что особенно волновало и трогало их. Музиль не скрывал своих вольнолюбивых мыслей. Известны они были и полиции, под надзором которой он находился. Была и другая причина, связывавшая их крепкой дружбой: Музиль был женат на Варе Бороздиной, которую Мария Николаевна по-прежнему нежно любила.

— Сегодня вы были великолепны, Мария Николаевна, — опускаясь в кресло, сказал Музиль.

— Да что вы, полно! Я играла плохо. Из рук вон плохо! — И Мария Николаевна с отчаянием покачала головой.

Музиль засмеялся.

— Вы неисправимы, Мария Николаевна! Ну что мне с вами делать? Одна надежда — завтра вы прочтете в «Русских ведомостях» восторженную статью и успокоитесь и поверите мне, что играли прекрасно! Сознаться, так уже было не раз!.. Однако ведь я к вам по делу, Мария Николаевна! Мой бенефис назначен на декабрь. Я долго не мог ничего подобрать, а тут как раз счастье привалило. Представьте себе, Островский только что предложил мне сыграть роль Нарокова — старика режиссера в его новой пьесе «Таланты и поклонники». Вы знаете эту пьесу?

— Да, читала у Надежды Михайловны.

— Так вот, покорнейшая просьба к вам — сыграйте Негину.

— Негину? Господь с вами, Николай Игнатьевич! Да разве я могу! У меня же ничего не получится! Вы бы лучше Гликерии Николаевне предложили...

— Нет, Мария Николаевна, — мягко, но настойчиво перебил ее Музиль, — я прошу именно вас. Прочитайте пьесу еще раз и подумайте. Вот она, я принес ее вам.

— Да ведь и Александр Николаевич будет недоволен, — нерешительно проговорила Мария Николаевна.

— Это теперь-то, Мария Николаевна! После того как вы сыграли «Грозу», «Бесприданницу», «Невольниц»? Да вы покорили Островского! Он мечтает увидеть вас в этой роли. Я говорил с ним. Не отказывайтесь, умоляю вас!

Мария Николаевна задумалась. Она глубоко ценила и любила Островского. В его драматургии она видела

надежду на обновление русского театра. С первых своих шагов на сцене она мечтала играть в его пьесах. Но Островский — все это знали — был горячим поклонником таланта Федотовой. Ее он имел в виду, создавая лучшие образы своих героинь. А Марии Николаевне роли в его пьесах большей частью доставались случайно, когда Федотова бывала больна или в отъезде. Правда, она с успехом сыграла и Катерину, и Ларису, и Юлию Тугину. А ее исполнением роли Евлалии в «Невольницах» Александр Николаевич остался очень доволен. «Эта роль была вашим полным торжеством», — сказал он ей после премьеры. А между тем было известно, что писал он эту роль для Савиной, которая наотрез отказалась ее играть. Кто знает, быть может, Музиль прав, и в этой новой пьесе Островский имел в виду именно ее, Ермолову?

— Хорошо, я попробую, Николай Игнатьевич. Дайте мне пьесу.

В тот же вечер, возвратившись из театра, Мария Николаевна принялась за чтение:

Нароков. Да ведь твоя дочь талант; она рождена для сцены.

Домна Пантелевна. Для сцены-то для сцены; это точно, это уж что говорить! Она еще маленькая была, так, бывало, не вытаскать ее из театра; стоит за кулисами, вся трясется. Муж-то мой, отец-то ее, был музыкант, на флейте играл, так, бывало, как он в театр, так и она за ним. Прижмется к кулисе да и стоит, не дышит.

Мария Николаевна читает и видит себя маленькой девочкой в суфлерской будке, жадно слушающей каждое слово, которое доносится до нее из заколдованного мира сцены...

Грустная история была рассказана в пьесе Островского. Негина — провинциальная актриса, молодая де-

вушка, чистая и благородная,— окружена толпой пошлых людишек, закулисных завсегдатаев, которые считают себя вправе распоряжаться ею, как вещью. Она неизмеримо выше всех этих людей, она мечтает построить свою жизнь согласно тем строгим правилам, которые ей внушает ее жених, студент Мелузов. Но жизнь складывается иначе: ей приходится делать выбор между личной жизнью и искусством. От любимого человека, бедного студента, преданного ей всей душой, она вынуждена уйти к богатому помещику Великатову, не любя его,— для того только, чтобы иметь возможность продолжать заниматься своим любимым искусством.

Это была трагедия многих, не об одной Негиной рассказал в своей пьесе Островский.

Да, Музиль прав, это ее роль! На следующий же день Мария Николаевна дала согласие и принялась за работу.

По утрам, с тетрадкой в руках, слегка склонив по привычке голову набок, ходила она своей легкой походкой по гостиной. Время от времени она останавливалась перед большим зеркалом, стоявшим в простенке между окнами, и, задумчиво глядя на свое отражение, повторяла слова роли.

Забившись в уголок гостиной, с куклой в руках, ее маленькая дочка Маргарита выглядывала из-за кресла и затаив дыхание следила за матерью. Это было ее любимым занятием.

— «Ах, оставьте меня, пожалуйста! Не нужно мне ваших нравоучений. Я сама знаю, что мне делать, сама знаю, что хорошо, что дурно». — Мария Николаевна несколько раз повторила эту фразу, в раздражении ударяя сложенной пополам тетрадкой о мраморный подзеркальник.

Маленькая Маргарита с беспокойством прислушивалась.

— Не мешай, пожалуйста! — сердито шептала она на ухо кукле. — Видишь, ничего не выходит у нас.

Но вот Мария Николаевна снова принималась ходить из угла в угол, и Маргарита успокаивалась.

— А вот и вышло! — сообщила она кукле. — Теперь все в порядке.

Однако девочка ошибалась, далеко не все еще было в порядке.

Давно уже Мария Николаевна знала роль наизусть — она выучивала их мгновенно, — но образ Негинной все еще неясно вырисовывался в ее сознании. Откуда она? Как могла вырасти у такой матери, в такой среде? Виновата ли она, а если нет, то кто виноват?

И Мария Николаевна мучалась, ища разгадку. Наконец она решила съездить к своей постоянной советчице и другу Надежде Михайловне Медведевой.

Дверь открыла старушка родственница и сообщила, что Надежда Михайловна больна и не выходит. Обеспокоенная, Ермолова прошла прямо в спальню и в недоумении остановилась на пороге. Неодетая, растрепанная, с каким-то странным выражением лица, Медведева сидела перед зеркалом.

— Что с вами, Надежда Михайловна, милая?

Медведева вздрогнула от неожиданности и растерянно посмотрела на Марию Николаевну.

— Да вот видишь, играю, — сказала она, смущенно улыбаясь. — Умирать пора старухе, а я вот все играю. В гробу, и там играть буду.

— Что же это вы играете, Надежда Михайловна?

— Дуру, Машенька, дуру! — И Медведева изобразила улыбку, глупее которой и придумать было невозможно.

Обе — и сама она и Мария Николаевна — так и покатались со смеху.

— Надежда Михайловна, душенька, голубушка, вы все такая же, прежняя! — говорила Мария Николаевна, искренне любясь и гордясь ею. — Нам всем с вас пример брать надо. Какая вы старуха! Да вы всех нас моложе!

— Ну, ты уж скажешь, — говорила довольная Медведева, — где уж мне теперь! Лучше садись-ка, рассказывай, что в театре. Целую неделю не была. Доктора не пускают.

И, усевшись рядом, как в былые дни, они заговорили о театральных делах. Мария Николаевна рассказала о новой роли, о сомнениях, колебаниях. По старой привычке, они вместе принялись за чтение пьесы. И Мария Николаевна снова и снова поражалась тонкости понимания, удивительной меткости, с которой Медведева улавливала едва намеченные черты характеров. Казалось, из тумана выплывали и оживали персонажи пьесы. Надежда Михайловна читала реплики Домны Пантелеевны, матери Негиной, — и перед Марией Николаевной, как живая, вставала эта женщина, в сущности добрая и любящая, но насквозь проникнутая мещанством, погруженная в мелкие житейские интересы. И тем яснее становился контраст между нею и дочерью. Она читала реплики Смельской, и тем разительней ощущалась глубокая пропасть между Негиной и этой пустой актрисой.

И все же Надежда Михайловна на этот раз мало могла помочь своей бывшей ученице. Она давно уже отошла от ролей молодых героинь, теперь ей ближе были характерные, бытовые роли.

— Виновата ли Негина? — спрашивала Мария Николаевна. — Достойна ли она уважения?

— Виновата, конечно, — отвечала на ее сомнения Медведева, — но, как говорится, заслуживает снисхождения. Так уж повелось у нас на Руси, так, наверно, и



всегда будет. Трудно нашей сестре, актрисе-то, дорогу себе пробить. Сама знаешь!

Но Мария Николаевна с сомнением качала головой:

— Да, трудно... Однако если виновата, так ведь и играть не стоит.

— Стоит, Машенька, стоит! По тебе эта роль. Сыграешь, как другим и не снится. Послушай меня, старуху!

Мария Николаевна уехала домой расстроенная. При виде ее озабоченного лица домашние старались не заговаривать с ней, не расспрашивали ни о чем, не занимали никакими делами. Не замечая ничего вокруг, она сидела за столом, рассеянно слушала рассказы мужа о каком-то интересном судебном деле, машинально разливала чай, машинально говорила ничего не значащие фразы.

Звонкий голосок маленькой дочки выводил ее из задумчивости. С тихой улыбкой расспрашивала она обо всех ее делах, о проведенном дне, о прогулках с няней Васильевной, о новой кукле. Потом, как бы спохватившись, наскоро обнимала ее, уходила в свою комнату, курила одну папиросу за другой, бросала их, не докурив, и все думала, думала...

Была уже поздняя ночь. Все в доме давно спали, и только Мария Николаевна без сна лежала в своей постели. Бессвязные отрывки мыслей приходили в голову, мешая уснуть. Вспомнилось холодное недоумевающее лицо мужа, которому она что-то ответила невпопад. Медведева, изображающая дуру, проплыла перед глазами — талант, вот это талант! И характер легкий. С таким характером легче жить, веселее. А вот ей в жизни все достается с трудом. Так и Негина. Ко всему она подходит строго. Она не может, подобно Смельской, пользоваться в жизни всем, что идет навстречу, не задумываясь, хорошо это или плохо. Но должна ли она похоронить свой талант ради личного счастья? Нет, нет,

призвание прежде всего! Разве виновата она в неизбежных сделках с совестью, уступках, жертвах, которые вынуждена приносить ради возможности свободно отдаться любимому делу? «Так повелось у нас на Руси», — говорит Надежда Михайловна. Да, так повелось, но не всегда так будет! Не всегда произвол, насилие и несправедливость будут заглушать все чистое, прекрасное и правдивое. Кто может осудить Негину, русскую актрису, за то, что у нее не хватило сил для борьбы? За то, что она должна идти тою же дорогой, что и смельские, которые недостойны даже называться актрисами? Не ее надо судить, а тех, кто ее окружает. Негина сдается, но она верна своим идеалам, тем идеалам, за которые боролась сама Мария Николаевна — Машенька Ермолова, — о которых долгими зимними вечерами спорили в низких накуренных комнатках Веры Топольской.

Как будто завеса вдруг спала с глаз Марии Николаевны. Она увидела перед собой ту девушку, которую будет играть, и сыграть другую она не могла бы уже ни за что на свете. Она увидела ее отчетливо, ясно, всю, до последнего бантика на платье, до последней оборочки...

И Мария Николаевна уснула счастливая.

## «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»

26 декабря 1881 года. Бенефис Музиля. В первый раз исполняется новая пьеса Островского «Таланты и поклонники». На афише — имена лучших актеров труппы. Публика полна ожидания. Театральные завсегдатаи приветствуют друг друга, обмениваются мнениями о предстоящем спектакле. В глубине ложи — сам автор, Александр Николаевич Островский.

Поднимается занавес. Перед глазами зрителей возникают персонажи пьесы: Домна Пантелеевна — мать Негиной; Нароков — старый режиссер, отдавший всю свою жизнь театру; студент Мелузов — жених Негиной; князь Дулебов и Бакин — местные «поклонники талантов», представители высшего провинциального общества, проводящие свой досуг в ухаживаниях за актрисами; богатый помещик Великатов, актриса Смельская и, наконец, сама Негина — Ермолова.

Уже при первом взгляде на ее одухотворенное лицо с глазами, устремленными куда-то вдаль, ясно, что она выше окружающих ее мелких, пошлых людишек. Она проходит мимо них, не замечая их, погруженная в какую-то иную, свою жизнь. Скрамная, простая, искренняя, она так не похожа на них!

Вот в третьем акте, после своего прощального бенефиса, бледная, усталая, она возвращается домой. Благодаря интригам обидевшегося на нее князя Дулебова антрепренер отказывает ей от места. Впереди полная неизвестность. Устроиться в другой театр трудно.

— «Надоело... да... надоело... Я думала, думала, да уж и думать перестала».

В цветах, присланных Великатовым, Негина замечает записку. Она читает ее — знаменитая сцена, которую на всю жизнь запомнили люди, видевшие Ермолову в этой роли.

Быстро пробежав записку глазами, она долго стоит, бледная, устремив взгляд куда-то в одну точку. Сколько чувств можно прочесть на ее лице! И надежду, и страх перед будущим, и восторг перед широкими просторами, которые открываются перед нею в этом письме.

Но вдруг она вспоминает о другом письме. Его украдкой после спектакля сунул ей в руку Мелузов. Слезы выступают у нее на глазах. Как могла она хоть

на минуту изменить своему чувству! Она вслух читает это письмо, полное любви и преданности:

— «...Если ты найдешь минуты две-три свободных, так выбеги в ваш садик... душа полна через край, сердце хочет перелиться...»

С такой нежностью, с такой тоской произносит она эти слова, что, кажется, никогда еще этот человек не был ей так дорог и близок, как в эту минуту.

В зрительном зале слышатся приглушенные всхлипывания женщин. Мужчины украдкой смахивают слезы.

Ермолова долго молчит как бы в оцепенении.

— «Ну-ка, прочти другое-то!» — тихо говорит Домна Пантелеевна.

Ермолова выпрямляется и, точно стряхнув с себя что-то тяжелое, начинает читать:

— «Я полюбил вас с первого взгляда. Видеть и слышать вас для меня невыразимое наслаждение...» — Она останавливается на мгновение, потом продолжает: — «А счастье мое, о котором я мечтаю, обожаемая Александра Николаевна, вот какое: в моей усадьбе, в моем роскошном дворце, моих палатах есть молодая хозяйка, которой все поклоняется, все, начиная с меня, рабски повинуется. Так проходит лето. Осенью мы с очаровательной хозяйкой едем в один из южных городов; она вступает на сцену в театре, который совершенно зависит от меня, вступает с полным блеском...»

По мере того как Ермолова читает, голос ее крепнет, и наконец, когда она доходит до этих слов, говорящих о ее блестящем артистическом будущем, низкие грудные ноты звучат в нем и проникают в сердца зрителей. Ее большие карие глаза загораются необыкновенным блеском. Вся ее стройная фигура точно вырастает. На сцене перед зрителем уже не робкая девушка, нет, — актриса, вдохновенная и величественная!

— «...Да что же это такое? Что он, противный, пи-

шет? Кто ж это ему позволил?» — говорит она как бы во сне, как бы еще не сознавая, что с нею происходит.

— «Что позволил?» — спрашивает Домна Пантелеевна.

— «Да так... полюбить меня», — неуверенно, с растановкой произносит Ермолова.

И зритель понимает, какая борьба происходит в ее душе. Вот когда она должна решить, жертвовать ли своей любовью для сцены! В конце третьего акта она с помощью Мелузова выгоняет наглого и циничного Бакина.

Актер Южин исполнял эту роль. И как он ненавидел себя за то, что ему приходилось оскорблять беззащитную, одинокую талантливую девушку! Всеми силами он старался скрыть от зрителя то чувство полного удовлетворения, которого никак не мог испытывать Бакин в тот момент, когда его выгоняет Негина.

— Каюсь, с этой ролью я слиться не сумел. И причиной этому вы, Мария Николаевна! — признавался он.

Вот в четвертом акте — прощальный ужин на вокзале. Ермолова в темно-сером пальто, с дорожной сумкой через плечо, в простенькой шляпке с приподнятой на лоб вуалькой. Вот в дверях появляется Мелузов. От неожиданности она теряется — она скрыла от него свой отъезд. Несколько мгновений она сидит неподвижно и смотрит ему прямо в глаза...

В зрительном зале немая тишина.

Ермолова встает и, опустив глаза, быстро проходит по сцене. Дойдя до Мелузова, она вдруг поднимает на него глаза — и столько нежности, столько любви в этом взгляде, что кажется, вот-вот она отменит свое решение и останется с ним навсегда.

— «Ни слова, ради бога, ни слова! Если только любишь меня, молчи; я тебе после все скажу».

Она возвращается на свое место. Нароков, бесконечно преданный ей, поднимает бокал шампанского:

— «За ваш талант!» — Тишина в зрительном зале сменяется бурей аплодисментов. — «...За вашу красоту!.. Я всю жизнь поклонялся красоте и буду ей поклоняться до могилы...»

Нароков опускается перед Негиной на колени. Она отворачивается от публики и подносит платок к глазам. Прерывающимся голосом Нароков произносит прощальные стихи и быстро, почти бегом направляется к выходу. Негина пытается удержать его. Настоящие слезы кажутся по ее лицу.



Времени до отхода поезда остается мало. Все направляется на перрон. На сцене Негина и Мелузов.

— «Ну, Петя, прощай! Судьба моя решена!» — В голосе Ермоловой глубокая тоска, но вместе с тем и непреклонная воля, и сразу становится ясно, что решение ее непоколебимо, назад возврата нет. — «Так надо... Все, что ты говорил, все правда, так и надо жить всем, так и надо... А если талант... Что же мне, отказаться, а?

А потом жалеть, убиваться всю жизнь... Если я родилась актрисой? Если б я и вышла за тебя замуж, я бы скоро бросила тебя и ушла на сцену... Разве я могу без театра жить? Прости меня! Я на коленях буду умолять тебя!»

Со стоном она опускается на колени. Дрожащими руками Мелузов удерживает ее.

Громкие всхлипывания доносятся со всех концов зрительного зала. В партере, в ярусах, на галерке, не стесняясь, не обращая внимания друг на друга, люди плачут, прижимая к глазам носовые платки.

— «Прощай, Петя! Прощай, милый, голубчик!» — И, вырвавшись из его объятий, Ермолова убегает.

## ПРИЗНАНИЕ

Поздней ночью после премьеры актеры собрались на торжественный ужин. Длинный стол, уставленный цветами и винами, оживленные лица. Марии Николаевне казалось, что она снова играет сцену на вокзале, но только там была настоящая, реальная жизнь, а здесь все расплывалось, скользило, и нужно было заставить себя поверить, что это не сон.

Рядом с нею сидел Музиль, взволнованный, как будто летящий куда-то.

— Как выразить вам, дорогая Мария Николаевна, — говорил он вполголоса, утирая платком свой высокий, потный от волнения лоб, — как передать то, что я почувствовал сегодня! Слов не хватает! Играть с вами на одних подмостках — радость, честь и блаженство. Я испытал это сегодня. Я плакал настоящими слезами, я переживал настоящее горе. Было мгновение, когда, казалось мне, я стал гениальным — такова сила, такова заразительность вашего таланта!

Мария Николаевна слушала эти слова, и искреннее удивление сквозило в ее внимательно устремленных на него карих глазах.

— Помилосердствуйте, Николай Игнатьевич, — она смущенно теребила салфетку, — что это вы говорите! Играла как будто недурно... Вот и все.

Немного поодаль от Музиля возвышалась над всеми седая голова «короля Лира» — ее дорогого старого друга Сергея Андреевича Юрьева. Прищулив по привычке один глаз, склонившись к своей соседке, Ольге Осиповне Садовской, он с увлечением рассказывал ей о чем-то. И хотя он говорил вполголоса, его низкий бас покрывал все остальные голоса. Сигара его давно погасла, и пепел от нее падал на черный сюртук. Милый, горячо любимый «дед» — так называли Сергея Андреевича в большой актерской семье Малого театра.

По другую сторону стола, наискосок от Марии Николаевны, сидела Федотова. В платье из блестящего синего шелка, плотно облегавшем ее стройную фигуру, с белым рюшем вокруг шеи, с тяжелой прядью волос, обвитой вокруг головы, она казалась еще совсем молодой, а ведь ей было уже за сорок. Легкая, подтянутая, она оживленно разговаривала с сидевшим рядом с нею Ленским. Темные глаза горели веселым блеском, и не то ироническая, не то лукавая улыбка скользила ежеминутно по ее умному лицу. Иногда, как бы невзначай, она бросала выразительный взгляд на Марию Николаевну.

— Тише, тише! — раздались голоса.

— Александр Николаевич будет говорить!

— Слово Александру Николаевичу!

Все взоры обратились к центру стола, где сидел Островский. Глядя на этого добродушного большого человека с простым, широким лицом крестьянина, окаймленным рыжеватой бородкой, не верилось, что это



и есть великий русский драматург — создатель гениальных произведений. Высокий лоб прорезали глубокие поперечные морщины, а глаза придавали какое-то особое обаяние всему лицу. Казалось, они сами по себе умели и думать, и слушать, и говорить, и смеяться. Огромное спокойствие, добродушие и чистота чувствовались во всей его фигуре. «По таланту — гигант, по сердцу — ребенок», — говорили о нем актеры.

— Господа актеры, — начал он торжественно, — публика ценит вас и любит. Каждая новая работа ваша — для публики новое наслаждение, а для вас и для Малого театра — новая слава. Но в огромном числе ваших почитателей есть такие, которым ваши успехи ближе к сердцу, которым ваша слава дороже, чем кому-либо. Это драматические писатели, от лица которых я и беру на себя приятную обязанность принести вам самую искреннюю, самую большую благодарность за то, что вы помогаете нам, авторам, отстаивать самостоятельность русской сцены.

Островский остановился, обвел присутствующих взглядом своих умных и суровых глаз и продолжал:

— Каждый народ знает себя через свое искусство. По мере того как народ узнает себя, и жизнь для каждого отдельного лица становится яснее и проще. Искусство является светочем, озаряющим жизненный путь для каждого вступающего в жизнь. Оно бессильно только над душами изжившимися; но над ними и все бессильно. Свежую душу театр захватывает властной рукой... Чтобы зритель остался удовлетворенным, нужно, чтобы перед ним была не пьеса, а жизнь, чтобы он забыл, что он в театре!

И это делаете вы, господа актеры, потому что вы не представляете, а вы живете на сцене. Актером родиться нельзя, точно так же, как нельзя родиться скрипачом, оперным певцом, живописцем, скульптором, драмати-

ческим писателем. Родятся люди с теми или другими способностями, с тем или другим призванием, а остальное дается артистическим воспитанием, упорным трудом, строгою выработкой техники...

Казалось, если бы Островский заглянул в душу Марии Николаевны и увидел все ее сокровенные мысли, он не мог бы яснее и точнее выразить все то, о чем она думала и что чувствовала. «Вот у кого надо учиться нам, актерам, вот кто по праву может называться учителем!..»

— Мы, драматурги,— продолжал Александр Николаевич,— твердо знаем, что только актер дописывает задуманный нами образ. Он создает законченные типы, полные художественной правды, из нескольких черт, набросанных подчас неопытной рукой. Актер помогает автору, угадывает его намерения. И сегодняшний спектакль является блестящим подтверждением этого. Прежде всего разрешите мне, господа, сказать несколько слов о нашем дорогом бенефицианте.

Николай Игнатьевич! Ваша художественная душа всегда искала в роли правды и находила ее часто в одних лишь намеках, иногда неясно и неполно выраженных автором. Вы избежали искушения, которому часто поддаются комики, искушения тем более опасного, что оно льстит скорым, без труда дающимся успехом: вы никогда не прибегали к фарсу, чтобы вызвать у зрителя пустой и бесплодный смех, который, кроме минутной веселости, ничего не оставляет в душе. В труппе вас считают комиком, но это не совсем верно. Будь вы только комиком, разве могли бы вы так исполнить На рокова, как вы это сделали сегодня?

Желаю вам и впредь сохранить всю искренность, всю чистоту вашего таланта. Господа, я предлагаю тост за здоровье Николая Игнатьевича!

— Ура! Здоровье нашего Музиля!

— Ваше здоровье, Николай Игнатьевич!

Бокалы зазвенели.

— А теперь, господа, — неторопливо продолжал Островский, — разрешите мне сказать несколько слов о двух замечательных исполнительницах центральных женских ролей как в моих пьесах, так и во всем репертуаре Малого театра. Я говорю о Гликерии Николаевне Федотовой и Марии Николаевне Ермоловой.

Тишина наступила в зале. В первый раз так открыто соединялись имена этих двух актрис. И кем? Самим Островским! Как примет это Федотова? Все с любопытством обернулись к ней. Яркий румянец выступил на ее щеках. Видно было, сколько усилий стоило ей сохранить самообладание. Разве могла она примириться с тем, что рядом с ее именем все чаще и чаще произносится имя Ермоловой? Она была властительницей репертуара, для нее драматурги писали пьесы, ей одной поручал центральные роли в своих пьесах Островский! И вот теперь он сам ставит рядом их имена. Все чаще приходится ей делить репертуар со своей соперницей. Ермолова уже не только заменяет ее, как это бывало прежде, или играет в очередь с нею — все чаще получает она самостоятельные роли, все громче звучит ее слава (в глубине души Гликерия Николаевна должна была сознаться — заслуженная слава!). И в недалеком будущем уже чудился ей тот час, когда она должна будет уступить первенство. А как это было тяжело! Разве могла она легко уступить свое место в театре? И она боролась, как могла, как умела! Ни для кого не были тайной те небольшие хитрости, к которым прибегала она.

Не раз из-за дипломатических ее «болезней» снимались с репертуара пьесы, в которых участвовали обе артистки, и у Ермоловой — так, по крайней мере, казалось Гликерии Николаевне — была более выигрышная

роль. В отчаянии хватался за свою седую голову главный режиссер Черневский, заслышав подозрительное покашливание, означавшее отмену спектакля.

Пройдут годы, и Федотова оценит благородство Марии Николаевны. Но это будет еще нескоро...

— Я поднимаю этот бокал, — продолжал Островский, — за несравненную исполнительницу и истолковательницу женских характеров, создательницу тонкого рисунка ролей, за ее огромный талант, артистичность и блестящее мастерство! Желаю вам здоровья и долгих дней, дорогая Гликерия Николаевна!

С бокалом в руке он подошел к Федотовой. Она быстро встала.

— От всей души благодарю, Александр Николаевич, за ваши хорошие слова, — сказала она, поднося руку к сердцу. — Право, я не стою их. Время мое прошло. Пора другим уступать дорогу... — Голос ее прервался.

Мария Николаевна видела, как Островский сказал что-то, склонившись к ней с ласковой улыбкой, но звон бокалов заглушил его слова. Потом он вернулся на свое место, медленно обвел глазами присутствующих, и наконец взгляд его остановился на Ермоловой.

— Мария Николаевна! Сегодня, глядя на вас в роли Негиной, я увидел то, что лишь неясно мог выразить своим пером. Вы своим тонким чутьем угадали авторский замысел. Из нескольких черт вырос прекрасный женский образ, воспоминание о котором зрители, быть может, на всю жизнь унесли сегодня в своих сердцах. И создали его вы, Мария Николаевна! Вы дописали его за автора, и дописали мягкими, благородными красками, полными художественной правды. Разрешите же поднять этот бокал за ваш искренний, величаво правдивый, не знающий фальши талант, поднимающий зрителя на недостижимую высоту, вызывая в нем радость и истинное художественное наслаждение!

Сдержанный шепот прошел по залу, словно вздох вырвался из уст всех присутствующих. Это было полное признание, а они, актеры, хорошо знали, что значит признание такого писателя и такого человека, как Островский.

## «ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА»

У подъезда Малого театра толпился народ. Перед большой афишей, весь погруженный в чтение, стоял гимназистик в длинной шинели и надвинутой на лоб фуражке с огромным сияющим гербом.

— «Орлеанская дева», трагедия Шиллера, — читал гимназистик. — Действующие лица: Иоанна — Ермолова, Дюнуа — Южин, Ла-Гир — Лавров, герцог Бургундский — Горев...»

У гимназистика дух захватило от этих имен. Что делать? Как попасть в театр? Все его попытки потерпели сегодня неудачу. Он уже поднимался на галерку и умолял капельдинера пустить его постоять «у трубы» — так называлось узкое место между стеной и последней скамейкой, место, хорошо знакомое посетителям галерки. Напрасно совал он полтинник в руку старого, бородастого, не раз выручавшего его капельдинера. Сегодня ожидался особенно строгий контроль.

И вот ему оставалось только читать афишу и с завистью смотреть на публику, исчезающую в театральном подъезде. Счастливицы, они будут смотреть спектакль!

Нет, положительно на свете не было более несчастного человека!

— Может быть, у вас найдется лишний билет? — раздался возле него чей-то детский голос.

Он обернулся и увидел такого же, как и он, гимназистика, с надеждой смотревшего ему в глаза.

— Лишнего? Да у меня не только лишнего, а никакого нет!

— Жа-аль! — разочарованно протянул второй гимназистик. — А спектакль, должно быть, интересный, — тоном взрослого прибавил он.

— Я думаю! — кивнул первый. — Ермолова нравится? — спросил он после небольшого молчания.

— Нравится. Особенно в «Медее».

— В «Медее»? — Первый гимназистик почувствовал, как у него, старого театрала, дрожь пробежала по телу от такого невежества. — Ты все напутал! — вскричал он, мгновенно переходя на «ты» со своим новым знакомцем. — Ермолова не играет «Медею»! «Медею» играет Федотова! Понимаешь? — Он возмущенно пожал плечами.

— Ну и подумаешь! — обиделся второй гимназистик. — Каждый может ошибиться... И ты можешь.

— Я? Да ты знаешь ли... да ты знаешь ли, что я... что я знаком с Ермоловой! — выпалил неожиданно для самого себя первый гимназистик и оробел от собственной дерзости. Это хвастовство сорвалось у него с языка лишь потому, что его дядя был действительно знаком и даже дружен с Ермоловой. Он бы с радостью взял свои слова обратно. Но было уже поздно.

Новый знакомый почтительно оглядел его с головы до ног и вдруг схватил за руку.

— Знаешь что! — сказал он громким шепотом. — Попроси Ермолову, чтобы она устроила нас!

Первый гимназистик неопределенно промычал что-то в ответ, но отступления не было.

— Пошли! — сказал он и решительным шагом направился к двери артистического подъезда.

Они молча поднялись по лестнице.

— Вы к кому, мальчики? — Старый сторож в солдатском мундире остановил их.

— Мы... к Ермоловой.

— Ее еще нет. Скоро будет. Подождите, если хотите.

Мальчики с любопытством оглядывались вокруг. Они были в полутемном помещении, заваленном мебелью, ящиками, старыми декорациями. В глубине виднелась сцена — никогда еще они не были так близко от сцены! Первый гимназистик с опаской поглядывал на сторожа, но тот был занят починкой ржавого чайника и так углубился в свою работу, что и вовсе забыл про мальчиков.

Прижав палец к губам, гимназистик сделал знак своему товарищу, и оба стали медленно подвигаться к сцене. С благоговением переступили они заветный порог. Сцена была пуста. Все уже было готово к началу спектакля. Осторожно, точно боясь разрушить что-то хрупкое и воздушное, ступали они по дощатому полу. В глубине во всю ширину сцены было натянуто полотно, неровно покрашенное зеленой краской, — мальчики догадались, что оно должно было изображать зеленые поля и холмы, хотя вблизи походило скорее на огромную грязную скатерть.

Вот слева, на авансцене, часовня. Стены у нее картонные и очень тонкие. Мальчики осторожно дотронулись до часовни и отошли поскорее — как бы не обвалилась! Вот справа «дуб развесистый», а под ним большой камень. Они пошевелили его — камень был легкий, деревянный, а дуб — полый, это сразу можно было определить, если постучать по стволу. Прямо над их головами, в полумраке, на огромной высоте виднелись перекладыны, с которых свисали раскрашенные вырезанные тряпки.

Все было странно и очень интересно! У гимназистика, объявившего, что он знаком с Ермоловой, был такой счастливый, взволнованный вид, что его новый товарищ поглядывал на него с удивлением.

— Это декорации к прологу, понимаешь? — с увлечением шептал гимназистик. — «Орлеанскую деву» читал?

— Читал.

— А вот занавес. Видишь две дырочки? Отсюда можно на публику смотреть. — Он заглянул в глазок. — Вот здорово! Всё головы, головы, люди, люди — и внизу, в партере, и наверху, в ярусах, так и кишат.

— Это еще что такое? — раздался вдруг чей-то грубый голос.

Гимназистик обернулся и замер. В грозной позе, сдвинув на лоб очки, к ним шел сторож.

— Это кто вам позволил тут шлаться? На неприятности из-за вас, того и гляди, налетишь! Озорники!

— Да я... да мы... мы хотели только посмотреть...

— «Только, только»! — ворчал сторож, уже смягчаясь. — Да и смотреть-то нечего. Сцена как сцена: декорация стоит — и больше ничего. Идите сюда, здесь ждите. Теперь уж скоро Мария Николаевна должна быть. Да вы к ней с письмом, что ли?

— Нет, мы хотим спектакль посмотреть, — быстро заговорил второй гимназистик, — вот мы и пришли к Федотовой попросить... — Он остановился, увидев отчаянные знаки, которые делал ему товарищ, но было уже поздно.

Сторож подозрительно посмотрел на мальчиков:

— К Федотовой? Вы что же это, сами не знаете, к кому вы? Коли к Федотовой, так и ждать не к чему. Не занята она сегодня.

— Да нет же, мы к Ермоловой! — перебил его первый гимназистик, бросая яростный взгляд на товарища. — Мы... то есть я... к Ермоловой, а он не знает, что мы... что я к Ермоловой.

Послышались чьи-то легкие шаги. Кто-то быстро прошел через сцену.



— А вот и они сами! — сказал сторож. — Мария Николаевна, тут вас господа гимназисты ждут.

Ермолова остановилась, откинула вуальку и удивленно посмотрела на мальчиков.

— Вы ко мне?

При звуках этого голоса, который до сих пор он слышал только со сцены и который всегда приводил его в трепет, первый гимназистик утратил всю храбрость.

— Мы... то есть я... — бормотал он в невероятном смущении. — Мы пришли просить вас... мы не достали билетов... — закончил он упавшим голосом.

Мария Николаевна молчала в нерешительности.

— Право, не знаю, — растерянно сказала она наконец. — Впрочем, подождите. Я сейчас у Сергея Антиповича спрошу. Может, он куда-нибудь вас пристроит.

Она сделала несколько шагов, потом обернулась и вдруг рассмеялась тихим, добрым смехом:

— Только вы не очень-то надейтесь. Скорее, нет... Это очень трудно.

Мальчики смущенно переминались с ноги на ногу.

Через несколько минут Мария Николаевна вернулась. За нею с недовольным видом шел высокий седой человек с красивыми, тонкими чертами лица. Это был главный режиссер Малого театра Черневский.

— Ну, что там такое? Какие там еще ребятишки? — ворчал он, мягко картавя.

— Вот, вот они. — Мария Николаевна показала на мальчиков. — Пристройте их куда-нибудь, пожалуйста, Сергей Антипович!

— Куда я их дену! Сами знаете, какой нынче спектакль. Народищу уйма.

— Ну куда-нибудь!

— Так и быть. Снимайте шинелишки! — скомандовал вдруг Черневский, и добрая улыбка скользнула по его лицу.



— Пойдемте, у меня в уборной разденетесь,— сказала Мария Николаевна.

Задыхаясь от волнения, спотыкаясь и толкая друг друга, мальчики шли за нею. У первого гимназистика

кружилась голова от восторга. Точно какой-то вихрь подхватил его и мчал в неизвестную, чудесную страну. Он разговаривал с самой Ермоловой! Сейчас он войдет в ее уборную и повесит там свою шинель!

Они разделись, и Черневский провел их к левой кулисе.

— Только стоять смирно! — сказал он, строго грозя пальцем. — Во время действия не шалить и не разговаривать, даже шепотом.

Мимо мальчиков на сцену шли загримированные актеры. Прошла Мария Николаевна, одетая пастушкой — в белой блузе, темно-красной юбке с черным корсажем, с кожаной сумкой через плечо, с распущенными волосами.

Поднялся занавес. Слева на авансцене Тибо д'Арк, отец Иоанны, разговаривал с молодыми поселянами — женихами своих дочерей. Из-за левой кулисы эта часть сцены была почти не видна. Зато прямо против мальчиков, под развесистым дубом, на камне сидела Иоанна — Ермолова. В глубокой задумчивости, охватив руками колени, она сидела и молчала. Она молчала, пока отец рассказывал о бедственном положении Франции, молчала, пока он сватал дочерей, молчала даже тогда, когда сестры обращались к ней за советом. Бесконечным казалось ее молчание, но было в нем что-то приковывающее к ней взор, и все остальное, происходившее на сцене, казалось незначительным, второстепенным.

Вот появился Бертран, брат Иоанны, со шлемом в руках, и тогда только подняла она голову, прислушиваясь к его рассказу о том, как он получил этот шлем от цыганки.

— «Отдай мне шлем! Он мой, он мне принадлежит!» — Это были ее первые слова.

Легкими шагами она подошла к Бертрону и, взяв

шлем, медленно подняла и надела на голову поверх распущенных волос.

Мальчики ясно видели ее лицо. Оно преобразилось от этого прикосновения. Большие карие глаза ее казались черными и огромными, как будто занимали все лицо. С волнением слушала она рассказ Бертрана об осаде Орлеана, о поражении французов.

...Ни слова о покорстве!  
Не трепетать! Вперед! Не пожелтеет  
Еще на ниве клас и круг луны  
На небесах еще не совершится —  
А ни один уже британский конь  
Не будет пить из чистых вод Луары.

Такая угроза, такая уверенность в победе слышались в ее голосе, что в сердцах двух мальчиков, жадно смотревших на сцену из-за кулисы, не оставалось никакого сомнения в том, что родина Иоанны будет освобождена.

— Простите вы, холмы, поля родные...

Нежно прощалась она с родной деревней, и гимнастик видел перед собой не раскрашенный потрепанный холст, а настоящие, освещенные южным солнцем поля и луга. А в вышине, над его головой, были не перекладины, с которых свисали разрисованные тряпки, а ясное голубое небо.

Се битвы клич! Полки с полками встали!  
Взвились кони — трубы зазвучали!

Кончился пролог. Буря аплодисментов донеслась из зрительного зала. Упал тяжелый занавес.

Медленно прошла со сцены Мария Николаевна, прошла так близко, что задела гимнастика краем своей широкой темно-красной юбки. Рассеянным, ничего

не видящим взглядом скользнула она по его лицу. Гимназистик замер и невольно прижался к кулисе.

Начался антракт. По сцене бегали и суетились рабочие, перетаскивали и устанавливали декорации, гремели молотками. Исчезло зеленое полотно — поля и холмы, — исчезли часовня и развесистый дуб, и на смену им появился королевский дворец с высокими белыми колоннами, статуями, лестницами, устланными коврами.

За кулисами собирались актеры. Они были одеты в лохмотья, и если бы не загримированные лица и приклеенные бороды, можно было бы принять их за обыкновенных нищих. Они громко переговаривались друг с другом, шутили, смеялись, топтались на месте. Это был «народ», который должен был «шуметь», предвещая выход Иоанны. Сама Иоанна — Ермолова в нескольких шагах от мальчиков молча и сосредоточенно ожидала выхода.

Вот она рванулась вперед, стремительно выбежала на сцену, радостно простерла руки к королю. Вот с детской ясностью рассказывает о себе:

...меня зовут Иоанна;  
Я дочь простого пастуха...

Вот она сбегает в панцире и латах по горной тропинке, легко ступая между нагроможденными декорациями, изображающими горы, и меч, как огненный, сверкает в ее руке.

Вне себя от восторга гимназистик следил за Иоанной. Как хотелось ему самому броситься за нею в бой, охранять ее от врагов, умереть за нее в сражении!

Он крепко схватил за руку своего приятеля, словно боялся, что ноги сами вынесут его на сцену.

Вот в третьем акте победоносная, грозная Иоанна преследует Черного Рыцаря, предвещающего ей беду. Вот она уже настигает его...

Вздых облегчения вырвался из груди гимназистика, когда Иоанна занесла меч над головой рыцаря.

Но в эту минуту люди за сценой стали громко стучать, свет погас, потом сверкнул снова, и Черный Рыцарь исчез. Воспользовавшись темнотой, он убежал за кулисы, — гимназистик чуть не бросился за ним вдогонку.

Но Иоанна уже мчалась дальше. Вот она вступила в бой с молодым англичанином, вооруженным с головы до ног. Вот она повергла его на землю, сорвала с него шлем, занесла над ним свой сверкающий меч... Гимназистик зажмурил глаза. Но что это? Меч Иоанны застыл в воздухе. Она отступила, лицо ее померкло, тоска и отчаяние зазвучали в голосе:

И знать я не хочу, что жизнь твоя  
Была в моих руках...  
Беги, тебя найдут.  
Умру, когда погибнешь.

Казалось, силы покидали ее... Сердце гимназистика дрогнуло от жалости. Слезы подступили к горлу.

Кончился третий акт. Опустился и вновь взвился занавес. Ермолова подошла к рампе. Из зрительного зала к ее ногам летели цветы, все больше, больше... Они уже устилали всю сцену. Веточка белой сирени залетела так далеко, что гимназистика стоило только протянуть руку, чтобы достать ее.

Публика неистовствовала. Не то рев, не то стон неся из зрительного зала и гулко отдавался за кулисами. В умилении, в самозабвении гимназистик смотрел на Ермолову. Как она должна быть счастлива! Она, достойная такого преклонения! Как счастливы ее близкие, счастливы актеры, играющие вместе с нею! Ему вдруг страстно захотелось самому бросить цветы к ногам великой артистки. Надо сейчас же, сию же минуту в антракте бежать за цветами!

Но вот беда, полтинник остался в кармане шинели.. Как достать его оттуда?

— Подожди, я сейчас вернусь! — шепнул он товарищу, и, прежде чем тот успел опомниться, он уже бежал по длинным, запутанным переходам сцены.

Он и сам не мог понять, каким образом после долгих блужданий очутился у двери ермоловской уборной. Он заглянул в щелку. Там еще никого не было. Осторожно приоткрыв дверь, он шмыгнул в комнату. Вот и вешалка, совсем близко от входа. Но здесь гимназистика постигла неудача: на вешалке висели тяжелые пальто и пришлось подлезть под них, чтобы добраться до своей шинели. Отчаянно сопя и торопясь, он принялся шарить по карманам. Как назло, полтинник закатился куда-то за подкладку, и никак не удавалось его вытащить. Но вот наконец он был в его руках. Обливаясь потом, гимназистик стал вылезать. В эту минуту дверь отворилась и усталой походкой вошла Ермолова.

«Что теперь делать? Как уйти отсюда?» — в отчаянии думал гимназистик. Какой позор! Что могут подумать о нем, если застанут его здесь! Весь дрожа от волнения, он зарылся поглубже и замер, слыша только биение собственного сердца.

Сквозь узенькую щелку ему было видно, как Мария Николаевна опустилась в кресло перед зеркалом. Долго сидела она неподвижно, устремив взгляд куда-то в одну точку, потом нервным движением взяла со стола папиросу. Она поправила на себе панцирь, и глаза ее сверкнули на мгновение, но тут же, точно вспомнив о чем-то, она провела рукой по лбу, склонила голову, и плечи ее опустились, как бы под тяжестью внезапного горя. В зеркале отразилось ее лицо, и гимназистика вдруг пронзила странная мысль. Быть может, подумалось ему, Ермолова, та самая великая, счастливая Ермолова, к ногам которой летели цветы, имя которой, подобно гро-

му, неслось из зрительного зала,— быть может, эта Ермолова не так уж счастлива, как ему прежде казалось? Но он тотчас же отогнал от себя эту мысль. Нет, это была игра, это было чудо, это была тайна, постигнуть которую ему было пока не дано.

Оживленные голоса доносились время от времени из коридора, шаги раздавались у двери, потом снова все стихало.

Наконец в дверь постучали, и чей-то негромкий голос сказал:

— Ваш выход, Мария Николаевна!

Она встала, надела шлем и, пристально посмотрев на себя в зеркало, медленно двинулась к двери.

Не помня себя, отирая пот, каплями катившийся по его разгоряченному лицу, гимназистик вылез из своего убежища и бросился бежать. В руке он сжимал полтинник, но поздно уже было покупать цветы. Колени у него дрожали, ноги не слушались, точно чужие.

Вот наконец и левая кулиса. Удивленное, встревоженное лицо товарища, о котором он и вовсе забыл...

— Куда ты пропал? Я беспокоился,— быстрым шепотом заговорил тот.

Но гимназистик не слушал его.

Давно уже поднялся занавес, спектакль продолжался, а он, как во сне, смотрел на сцену и видел только одну Иоанну.

Вот она в королевском дворце, вся в белом, с распущенными волосами, стоит, опершись о высокую спинку стула, прислушиваясь к звукам музыки. Настоящие слезы катятся из ее глаз, бесконечная печаль слышится в голосе:

Ах! почто за меч воинственный  
Я мой посох отдала  
И тобою, дуб таинственный,  
Очарована была?..





Со знаменем в руках нетвердыми шагами она поднимается по широким ступеням Реймского собора, выбегает оттуда, словно преследуемая кем-то... Обвиненная собственным отцом в колдовстве, она уходит, оставленная всеми, отказываясь от помощи...

Тряслись картонные стены, падали легкие, бутафорские цепи, но гимназистик всей душой верил, что цепи эти — железные, а стены — из тяжелого гранита. Он помнил из уроков истории, что на самом деле все было совсем иначе, что Иоанну, обвиненную в колдовстве, сожгли на костре, но в эту минуту он не верил истории, а верил Шиллеру и Ермоловой.

Спектакль близился к концу. Вот французские воины внесли на носилках раненую, умирающую Иоанну. Со слабой улыбкой, успокоенная, просветленная, окруженная своим народом, радостно

встречала она смерть. Собрав последние силы, она встала с носилок и со знаменем в руках стояла, озаренная ярким светом, потом, подняв глаза к небу, тихо склонилась на руки рыцарей. Ее опустили на землю и покрыли знаменами...

Гимназистик больше не смотрел на сцену. Уткнувшись лицом в пыльную декорацию, он рыдал, не в силах дольше сдерживаться. Грохот, донесшийся из зрительного зала, заставил его очнуться. Занавес опустился. Он увидел, как Ермолова медленно поднялась, и это показалось ему чудом. Не присутствовал ли он несколько минут назад при ее смерти? Как могла она так преображаться? Глядя на ее чуть склоненную голову, он все еще видел перед собой умирающую Иоанну. И потому, как актеры молча расступились перед нею, точно боясь разбудить ее, он понял, что они испытывали то же, что и он.

Вне себя от теснивших его душу чувств гимназистик бросился на колени и, не обращая внимания на застывшего от удивления товарища, на пороге той самой сцены, по которой ходила великая артистка, дал клятву посвятить свою жизнь искусству... А в зале царило волнение, которого не помнили стены Малого театра. Тысячная толпа превратилась как бы в единое существо.

Шестьдесят четыре раза поднимался занавес — случай единственный в летописях театра! Бледный, взволнованный Черневский, шатаясь, прошел по сцене и мелом написал на занавесе: «64».

## ЗАБОТЫ

Гимназистик и не подозревал, как близок он был к истине, когда подумал, что Ермолова не так счастлива, как ему казалось. Семейная жизнь — это стало ясно уже

в первые годы замужества — складывалась совсем иначе, чем она ожидала. Все, что сближало ее с мужем прежде, теперь как будто утратило для него интерес, а для нее по-прежнему было бесконечно дорого. Все больше обнаруживалась разница во взглядах на жизнь, в интересах, во вкусах; все больше отдалялись они друг от друга. Скрытная по природе, Мария Николаевна замкнулась в себе и лишь с сестрой — Анной Николаевной, Аннетой, — делилась она своими огорчениями и печалью.

Часто в свободные от спектаклей вечера она спешила к сестре, и как в детстве они подолгу сидели, запершись в комнате, и говорили, говорили...

Однажды Мария Николаевна приехала особенно расстроенная, грустная.

— Что с тобой, Машенька, родная моя? — Младшая сестра в такие минуты казалась намного старше.

Мария Николаевна медлила, подыскивая слова.

— Ты ведь знаешь, Аннета, мне тяжело таить в душе свои огорчения, — она улыбнулась слабой улыбкой, — потому я всегда спешу доставить тебе удовольствие и половину этой тяжести свалить на тебя. Это уж, конечно, не признак сильной натуры...

— Говори, говори, Маша!

— Скажи мне, Аннета, решилась бы ты перевернуть свою жизнь вверх дном, и притом так, что одному человеку непременно пришлось бы больно от этого?

— О чем это ты, Машенька?

— Помнишь, когда-то давно-давно, когда мы были с тобою еще совсем девочками, в нашем подвале мечтали мы и спорили о будущем? Ты всегда была смелее меня и ничего не боялась, — Мария Николаевна с улыбкой взглянула на сестру, — даже отца. Мы рассуждали о семейной жизни, и нам казалось, что никогда мы не подчинимся тем условностям, которые налагают на нас

люди. Да, так думала я, когда мне было семнадцать лет, а на деле вышло совсем иначе.

Анна Николаевна обняла ее и погладила по голове, как ребенка.

— Не знаю, как это получилось, — продолжала Мария Николаевна, — но для меня стало ясно, что мы — чужие люди, с разными характерами, интересами, взглядами. Я точно гостя у себя дома. Если бы не Маргарита...

Мария Николаевна вдруг замолчала, взяла папиросу и закурила.

— Я тебе не говорила, Аннета, тебя не было тогда со мною, но ведь я было уже совсем решила порвать... Чего стоило мне это решение, сколько ночей провела я без сна, чего ни передумала, чего ни перечувствовала! И только слезы Маргариты, летом на Волге, когда я уезжала в Москву, остановили меня. Она прижалась ко мне и горько рыдала, уткнувшись лицом в мое платье. Ее еле оторвали от меня. И я поняла тогда, что не в силах, не вправе лишить ее отца, исковеркать ее детство...

— Дорогая моя, как я хотела бы видеть тебя счастливою, — тихо сказала Анна Николаевна.

— Нет, нет, Аннета, прошу тебя, не принимай слишком горячо к сердцу то, что я тебе говорила. Это было минутное настроение. Но вот я высказалась, и мне уже легче. Ничего, буду работать...

И Мария Николаевна работала. Театр отнимал слишком много времени для того, чтобы думать о себе, а в свободное время было слишком много забот.

Дочь росла, и чем взрослее становилась она, тем большим вниманием окружала ее Мария Николаевна.

«Я очень рада, что ты пишешь ко мне каждый день, это дает мне возможность не отдаляться от тебя и жить с тобой вместе и мысленно и душевно. Таким образом, я почти шаг за шагом вижу твою жизнь...».

«...какими бы ты подробностями ни наполняла свои письма, они для меня никогда не могут быть скучными, даже какой бы вздор ты ни писала. Надо искать интереса в людях, а не в самой себе, и тогда жизнь сейчас же получит настоящий здоровый смысл... Ты ко всему чересчур нервно относишься, слишком много живешь воображением...»

«...возьми какое-нибудь историческое или другое какое сочинение, что тебя больше заинтересует, и положи себе также за правило читать хотя бы полчаса в день... Не сердись за мои советы; когда у тебя будут дети, ты тогда поймешь меня...»

Шаг за шагом, внимательно, но без всякой назойливости следила она за жизнью дочери, была ее настоящим другом и советчицей. Дочь росла, родители старели, болели, подрастали племянники, младшую сестру приняли в Малый театр, дочери друзей — Бороздиной и Музиля — тоже были уже актрисами. И Мария Николаевна поспевала съездить во Владыкино проведать больного отца, позаботиться о матери, помочь советом сестре, замолвить в театре слово о талантливых Леле и Варе Музиль — по-прежнему молодежи туго доставались роли. И лишь в субботние вечера можно было позволить себе отдохнуть — позвать в гости друзей или поиграть с сестрами на рояле в четыре руки.

После смерти отца Мария Николаевна взяла мать к себе, и последние годы Александры Ильиничны были согреты теплотой и любовью.

## ПОИСКИ

Когда кто-нибудь из молодых актеров обращался к Марии Николаевне с просьбой научить, как сыграть ту или иную роль, она становилась в тупик:

— Да как я расскажу... Могу только показать...

И она показывала. И тогда каждому становилось ясно, что так сыграть может лишь она одна, что никому не дано проникнуть в тайну ее искусства, и даже для того, чтобы подражать ей, надо обладать немалым талантом. Для самой Марии Николаевны эта черта характера была постоянным источником огорчения. Она страстно желала успеха молодежи, верила в нее, радовалась каждому новому таланту, но объяснить, как надо играть, было не в ее силах.

Выслушав восторженный отзыв о своей игре, она смущенно пожимала плечами:

— Ну да, кажется, недурно. Но ведь это совсем не так трудно... — Она говорила это вполне искренне и серьезно.

На вопросы, как она работает над ролью, она отвечала, подумав:

— Прочту пьесу, представлю себе ту женщину, которую должна играть. Сначала неясно... потом начнет все вырисовываться подробно... И тогда уж другую играть не могу. Очень просто...

Разумеется, это было совсем не просто. Приходилось играть так много ролей, так много трагических судеб проходило перед ее внутренним взором! И, конечно, она не могла черпать все из своей жизни, из своего собственного опыта или даже из жизни окружавших ее людей. Ведь ей нужно было знать о своей героине все до мельчайших подробностей, все «до последнего бантика на платье, до последней оборочки».

И Мария Николаевна знакомилась с женщинами, которые, казалось ей, были сродни ее героине, выслушивала десятки трагических историй, становилась хранильницей тайн, которые эти женщины, вероятно, никому, кроме нее, не доверили бы, потому что чувствовали, что она понимает их и не употребит во зло их доверия.

Об этих своих знакомствах Мария Николаевна не любила рассказывать, о них знали немногие — сестра Анна Николаевна да одна-две приятельницы, принимавшие участие в таких поисках.

Писатель Гиляровский, который в молодости был актером, встретил ее однажды среди богомолков. Это было в Воронеже, куда Мария Николаевна приехала на гастроли. Гиляровский играл тогда в Воронежском театре.

Проходя воскресным днем по одной из глухих улиц на окраине города, он увидел на скамейке перед маленьким домиком знакомую актрису Воронежского театра Свободину. Она познакомила его с хозяйкой дома, и через несколько минут они уже сидели в маленькой столовой за накрытым столом. Шумел самовар, стояли блюда с пирогами. Только что завязался разговор, как вошла, к удивлению Гиляровского, Мария Николаевна. Она, в свою очередь, удивилась, увидев его, а Свободина сказала со смехом:

— Пусть уж он узнает наш секрет!

И она подвела его к окну. В садике за домом сидели богомолки — в лаптях, с котомками за плечами.

Оказалось, что обе они — Мария Николаевна и Свободина — приходят сюда по воскресеньям, едят пироги и беседуют с богомолками.

— Знакомимся с женской долей, — сказала Мария Николаевна. — Мне только здесь стали понятны Некрасов и Писемский... Посмотрите на эту красавицу. — И она показала на молодую женщину с красивым, почерневшим от загара лицом. — Муж из ревности убил ее ребенка и сам повесился в тюрьме. Вот она и мыкает горе. Третий год ходит по богомольям... Взгляните на это молодое лицо, — вполголоса продолжала она, — скорее цыганское, чем ярославское — она из-под Ярославля. Эти две глубокие морщины неотвязной думы между

бровями, эта безнадежность взгляда... Если бы вы слышали, как она рассказывала о себе! Она чувствовала, что я понимаю ее, и открывала передо мною все, что терзало ее душу, все, что никому не могла рассказать, даже своему попу, потому что встречается с ним у родных. И ни одной слезы!

И на глазах у изумленного Гиляровского Мария Николаевна вдруг превратилась в ту женщину, о которой говорила. Уже не своим, а ее голосом продолжала она эту печальную повесть:

— И вот иду, иду. За народом иду. У Троицы была. В Москве, в Киеве. Богомолка свое горе передо мной выплечет, а я ей свое — полегчает... И вот иду, иду. Куда народ, туда и я. Люди хоть плачут, а у меня ни слезинки. Одна тягота.

Мария Николаевна запомнила каждое слово богомолки.

## ИГРАЮ, ИГРАЮ, ИГРАЮ!!!

С каждым годом она становилась все строже к себе, все пристальнее изучала жизнь, все глубже изображала ее на сцене.

Она играла роль Юдифи в пьесе Гуцкова «Уриэль Акоста», и молодежь понимала, что надо смело защищать свои убеждения, никого и ничего не боясь. Она играла роль древнегреческой поэтессы Сафо, и снова это был урок: художник не должен забывать своего призвания, не должен жертвовать им даже ради личного счастья. Она играла Марию Стюарт, и зрители испытывали ненависть к тирании и насилию. Она играла «Орлеанскую деву», и это был урок любви и служения родине.

С необыкновенной силой рисовала она трагедию ма-



теринской любви: тоску по утерянной дочери в «Холопах» Гнедича; беспредельное отчаяние при виде безумия сына в «Привидениях» Ибсена; безграничное счастье, когда мать находит сына, в пьесе Островского «Без вины виноватые».

Спектакль «Орлеанская дева» в течение восемнадцати лет не сходит со сцены, и зрители подносят Ермоловой меч, как символ ее героического искусства. Пять юношей — студентов Московского университета — посылают ей восторженное письмо по поводу исполнения ею роли Иоанны. «Куда бы ни бросила вас жизнь, — отвечает им Мария Николаевна, — как бы ни были впоследствии разнородны ваши души и стремления — не покидайте веры в идеал. Если пламень, который горит теперь в ваших молодых душах, — погаснет совсем, вы погибнете, помните это! Вы засушите себя и будете несчастны. Люди уйдут, заменятся новыми, но прекрасное вечно — без него жизнь есть только скучный, а следовательно, и бесполезный труд».

Двадцать лет подряд она играет роль Негиной, и потрясенные зрители понимают, что она играет себя, свое жалкое детство на пыльном пустыре, пламенную веру в свое призвание, свой блистательный дебют.

В памяти современников навсегда остались ее гениальные изображения русских женщин — Негиной в «Талантах и поклонниках», Ларисы в «Бесприданнице», Юлии Тугиной в «Последней жертве», Катерины в «Грозе».

Всегда выступала она защитницей своих героинь и обвинительницей того «темного царства» дореволюционной России, в котором томилаь русская женщина. Громко звучал со сцены голос Ермоловой, протестовавшей против семейного гнета, мещанских предрассудков, бесправия женщины.

В пьесе А. Суворина «Татьяна Репина» она так

играет смерть героини, что и зрители и актеры, участвующие вместе с нею в спектакле, думают, что она действительно умерла. В зале истерики, вызывают врачей, выносят женщин без чувств. Занавес опускается, и Ермолова, приподнявшись на подушках, не понимая, что происходит, спрашивает товарищей: «Что случилось? Уж не пожар ли?» И актеры, теперь только поняв, что это не смерть, а вдохновенная игра, со слезами на глазах отвечают: «Какой там пожар! Это — вы! Вы!»

После одного из спектаклей молодой Остужев, впоследствии знаменитый актер, потрясенный игрою Ермоловой, бросается перед нею на колени, умоляя открыть ему тайну ее искусства. И Мария Николаевна, смущенная, взволнованная, отвечает ему:

— Да что ты, Саша! Да я ничего не знаю, ничего не умею. Мне и сказать нечего. Как могу я учить? Я сама только учусь играть...

Еще совсем молодой женщиной она играет свою со-  
тую роль, а через десять лет двухсотую...

Все шире становится признание таланта Ермоловой, и только по-прежнему равнодушно и холодно отношение к ней театральных чиновников. По-прежнему, не щадя ее здоровья, они перегружают ее непосильной работой. Пьесы меняются часто, и в большинстве это пошлые пьесы бездарных авторов, покровительствуемых начальством. За зимний сезон Марии Николаевне приходится играть семь-восемь новых ролей, не считая старого репертуара. Долгие годы подряд играет она почти ежедневно, а на праздниках по два раза в день.

«Играю, играю, играю и играю!!! Играю всякую дребедень, пьес нет, авторов нет...»

10 февраля 1886 года умер Николай Алексеевич Ермолов. Мария Николаевна тяжело пережила смерть отца. Но уже через два дня после похорон она играет, и не какую-нибудь маленькую роль, а Марию Стюарт.

Театральное начальство не сочло нужным дать великой артистке больший срок для того, чтобы оправиться от постигшего ее горя.

Много сил приходится ей тратить на борьбу с тупым бюрократизмом и бездушием чиновников.

«Имейте в виду, что мне не под силу играть три дня подряд, тем более когда третьим спектаклем идет «Мария Стюарт»...»

«Если было бы возможно освободить меня в понедельник, я была бы вам очень благодарна, ввиду того, что мне необходимо, как вам известно, выучить роли... Но если этого нельзя... вы знаете, что я всегда готова делать то, что даже не по силам...»

«...я не могу играть таких ролей... Никогда сроду не играла ничего подобного и никак не могу найти у себя даже подходящего тона. Будь мне шестнадцать лет, меня можно бы выучить с голоса, теперь же я никогда не пойду играть той роли, в плоть и кровь которой я не могу войти. Это совершенно не мое дело...»

«...в этом году мне приходится учить столько новых ролей и столько тратить на них сил, что я уже просто не в состоянии учить еще старые роли. Вы велели назначить «Непогрешимого», мы его год не играли, все забыто, будьте так добры, или отмените его, или прикажите передать мою роль. Я боюсь, справлюсь ли я с новыми пьесами в нынешнем году, так их много. Надеюсь, что вы посочувствуете мне и не откажете...»

Читая эти бесчисленные просьбы, направленные главному режиссеру, управляющему Московской контрой императорских театров, директору, можно подумать, что они написаны незаметной артисткой. А между тем это было тогда, когда уже много лет во всем блеске сияла слава Ермоловой, когда имя ее для молодежи было символом всего светлого и передового, когда москвичи, встречаясь друг с другом, говорили: «Мария

Николаевна» — и уже прекрасно знали, о ком идет речь; когда женщины душились духами «Дафнэ», потому что их любила Мария Николаевна, и вставляли в окна своих квартир лиловато-розовые стекла, потому что по какой-то странной случайности такие окна были в кабинете Марии Николаевны на Тверском бульваре.

## ДРУГ

Л. В. Средину

2 сентября 1898 года

Дорогой Леонид Валентинович, мне так хочется написать вам, хотя вряд ли выйдет толковое письмо, я все еще не могу ни успокоиться, ни опомниться после нынешнего лета. Хотя уже другая жизнь начинает понемногу захватывать меня, но я все еще чувствую себя в том приподнятом, восторженном настроении, в котором я пробыла почти три месяца... Да, я пережила еще раз мою юность. Право, это счастье немногим дается. Не боясь быть смешной, потому что я пишу вам, а вы меня поймете, я скажу, что я пережила чувство влюбленности, как его переживают в восемнадцать лет. Я была влюблена в вас, в природу, в музыку, в вашу личность, в вашу душу, в голос и глаза Алексина, в характер Софьи Петровны... Я бывала много раз в Крыму, любила его всегда и всегда скучала в нем... и я с радостью уезжала в Москву. Теперь... было не так, я... со слезами уезжала из Крыма... Все дело в том, что я нашла людей по сердцу. И это такая страшная редкость в нашей жизни, что и теперь я так сильно чувствую, какое редкое счастье выпало мне на долю... за последние двадцать лет я таких людей не встречала...

Это письмо Мария Николаевна написала доктору Леониду Валентиновичу Средину, с которым она познакомилась в Крыму, где вместе с дочерью Маргаритой Николаевной провела лето 1898 года.

Леонид Валентинович Средин был одним из тех замечательных людей, которые, не свершив ничего великого, тем не менее оставили глубокий след в сердцах лучших людей своего времени. Хирург, с большим успехом начавший в Москве свою медицинскую деятельность, он принужден был из-за тяжелой болезни — туберкулеза — переехать в Ялту, и его дом быстро сделался центром, привлекавшим писателей, художников, актеров.

Чехов был близким другом Средина и высоко ценил его литературные вкусы. Горький любил его и, приезжая в Ялту, был его постоянным гостем. Имя Средина часто упоминается в их переписке.

«Мы, то есть я и Средин, — пишет Чехов, — часто говорим о вас. Средин вас любит».

«За сообщение о Средине спасибо, — отвечает Горький. — Чертовски хорошая душа. Поклонитесь ему».

«Какая-то неведомая сила влекла на балкон Средина как ялтинских обывателей, так и заезжих в Крым, — вспоминает художник Нестеров. — Бывало, тянутся люди в гору к дому, где проживал медленно угасавший в злой чахотке Средин, объединявший вокруг себя ищущих «правды жизни». Кто-кто не шел к милому, спокойному, мудрому Леониду Валентиновичу!»

Быть может, впервые в жизни Мария Николаевна встретила человека, с которым почувствовала себя легко и свободно, который понимал ее с полуслова. Ее притягивало мягкое обаяние Средина, его умение и душевная готовность слушать своего собеседника.

Марии Николаевне редко удавалось бывать в Крыму, и дружба их постепенно свелась к переписке. Но

как часто в Москве, среди повседневной театральной сутолоки, волнений, недоразумений и дразг, тянуло ее в далекую Ялту побеседовать со Срединым, «отогреться» на его балконе «от московской стужи»!

«...Представьте себе такую картину: вьюга, зима, метель, — а в теплой освещенной комнате так... хорошо! Вдруг раскрывается дверь — врывается зимний холод и мрак, вас берут, сажают на бешеную тройку, и вас мчат по сугробам, по ухабам, по холоду! Пустите меня, дайте отдохнуть, я хочу опять в тот светлый домик, где так тепло! Нет, нет!.. дальше!.. И опять вы мчитесь и только через несколько времени замечаете, что вы кружитесь все по одному месту, что бешеная тройка не уносит вас вперед, а, издеваясь над вами, кружится около. И часто, сквозь мрак, вы видите, как мелькает огонек, к которому рвется ваша душа, но вам не дают остановиться! Наконец отчаянное усилие с вашей стороны, да и кони устали кружиться, вы выпрыгиваете и бежите из всех сил на манящий вас огонек.

Вот я и добралась наконец до моего огонька, до вас! А когда я добираюсь до вас, у меня в душе начинают звучать особенные струны...»

## ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР

Весной следующего года Мария Николаевна снова приехала в Ялту. Она провела тяжелую зиму. Болезнь матери, непосильная работа в театре, постоянная борьба, которую ей приходилось вести против косности, тупости и недоброжелательства начальства, измучили ее. Порой она приходила в отчаяние и готова была уйти из театра... И вот теперь, приехав в Крым, она отдыхала душой, наслаждаясь морем, солнцем, воздухом, беседами с людьми, близкими ее сердцу.

Впервые встретившись с Горьким на «срединской террасе», она сразу почувствовала к нему глубокую симпатию. Высокий, немного сутулый, с зачесанными назад прямыми темными волосами, в русской рубашке, подпоясанной цветным пояском, он бродил по окрестностям Ялты, окруженный толпой ребятишек. С ними он ходил на Ай-Петри, в Алупку, с ними ловил рыбу, плавал на парусной лодке. Его любили все, от мала до велика.

У Марии Николаевны, когда она встретилась с Горьким, было такое чувство, будто они знакомы много лет. Ей нравились его книги. Горьковская вера в будущее, в человека была близка и дорога ей. Они часто говорили о литературе, о театре, и вкусы их неизменно сходились. В течение всего пребывания Марии Николаевны в Ялте она, Горький, Средин и его друг, доктор Алексин, были неразлучны. В середине лета к их обществу присоединился Станиславский — «неизменный почитатель» Марии Николаевны, как он подписывал свои письма.

В этот вечер к Средину собрались рано — Горький обещал прочитать свой новый рассказ. Когда вошла Мария Николаевна, он ходил из угла в угол по террасе огромными шагами. Время от времени он останавливался и, как бы любуясь, смотрел на Станиславского, с жаром развивавшего свою любимую идею, которую в начале разговора он кратко выразил такими словами: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве».

— Мы, артисты, счастливые люди, — говорил Станиславский, увлекаясь все больше и больше. — Во всем необъятном мире судьба дала нам несколько сотен кубических метров — наш театр, в котором мы можем создать особую, прекрасную жизнь. А между тем как часто сами актеры вносят в театр житейские мелочи, интриги, сплетни, зависть, мелкое самолюбие! Все это надо

с корнем вырвать из души!.. — Он помолчал. — Сцена — белый лист бумаги, она может служить и возвышенному и низменному, смотря по тому, что на ней показывают и кто на ней играет, — продолжал он. — Прекрасные, незабываемые спектакли Мочалова, Щепкина, нашей Ермоловой... — Он показал на Марию Николаевну, как бы представляя ее присутствующим. Мария Николаевна в ответ только покачала головой. — Боже мой, как долго и упорно нужно работать, прежде чем извлечь из своей души подходящее слово, интонацию, какую-нибудь черточку, которая поможет создать задуманный образ... Как томится артист, не находя наяву того, что мерещится в его воображении!.. — Станиславский замолчал, обвел присутствующих немного смущенным взглядом и прибавил с доброй улыбкой: — Ну, я, кажется, попал на своего конька — не даю никому слова сказать.

— Напротив, напротив, Константин Сергеевич, я с большим интересом слушаю вас, — возразил Горький. — Как это верно все, что вы говорите! Вот, кстати, о потерянном слове. В литературе такие вещи, пожалуй, еще чаще бывают. Я один случай из своей жизни вспомнил. Писал я однажды рассказ, и вот одно слово никак на ум не шло, ускользало. А без этого слова — я чувствовал — вся яркость теряется. Рассказ готов, а слова нет как нет! Редакция из себя выходит, все сроки давно прошли. Я хожу злой, мрачный, спать перестал... И вот заходит ко мне приятель, тащит в цирк. Сидим мы с ним, смотрим разные разности: «рыжих», воздушных гимнастов, жонглеров. Вдруг слово мелькнуло, как живое. Я — домой, не досмотрев представления, и на другое утро отнес в редакцию готовый рассказ...

— И все же, — задумчиво сказал Станиславский, — нам, актерам, еще труднее. Вы можете работать, когда хотите, вы свободны в своем творчестве, актер же дол-



жен уметь вдохновляться в определенное время, помеченное на афише. Это не так-то просто! Не правда ли, Мария Николаевна?

Можно было подумать, что этот вопрос имел важное значение для Марии Николаевны — таким долгим, задумчивым взглядом ответила она Станиславскому. В этот вечер она была особенно молчалива.

— Мария Николаевна Тимковским умучена, — лукаво улыбаясь, пошутил Горький. — Держу пари, он сегодня ей целый день свою драму читал!

Горький не любил драматурга Тимковского и часто поддразнивал Марию Николаевну, которая была с ним в дружеских отношениях.

— Нет, здесь что-то другое, — шутливо возразил Средин. — У Марии Николаевны таинственный, загадочный вид, а Константин Сергеевич смотрит на нее такими глазами, как будто он один знает, в чем заключается тайна.

— Ах, полно, господа! — грустно сказала Мария Николаевна. — У нас с Константином Сергеевичем только одна тайна — тайна театра. И он, кажется, разгадал ее, а я...

И Мария Николаевна замолчала.

— Впрочем, бог с ним, с этим театром, — неожиданно прибавила она. — И пришло же мне когда-то в голову пойти на сцену!

Все засмеялись.

— Алексей Максимович, где же ваш новый рассказ? — сказал Средин. — Мы ждем.

— Ну что ж! Если хозяин требует, приходится подчиняться. Прошу судить строго, без снисхождения.

Горький достал из кармана рукопись, уселся за стол и начал читать:

— «Нас было двадцать шесть человек, двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где

мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки...»

Мария Николаевна вначале с трудом заставляла себя слушать — мысли ее были в этот вечер далеко, — но по мере того как Горький читал, он все больше овладевал ее вниманием. Казалось, она не только видела этих людей, но ощущала запах вареного теста, слышала бульканье кипящей воды, заунывную песню, которую жалобно и тоскливо затягивал пекарь, ясный, звонкий голос шестнадцатилетней девушки Тани. Так ясно, словно давно знакомое, представляла она себе лицо Тани, сквозь маленькое грязное оконце улыбавшееся открытой, ласковой улыбкой — улыбкой, озарявшей беспросветную жизнь двадцати шести человек.

— «Мы любим, может быть, и не то, что действительно хорошо... Мы всегда хотим дорогое нам видеть священным для других».

Тихий вечер незаметно и быстро перешел в ночь. Черное южное небо было усеяно звездами. С моря доносился равномерный плеск волн. Горький кончил. Все долго молчали.

Мария Николаевна подошла и крепко пожала Горькому руку.

— Спасибо, от всей души спасибо, Алексей Максимович, — тихо сказала она. — А теперь простите меня. Мне сегодня нездоровится. Хочу лечь пораньше... Не провожайте меня, дорогой Леонид Валентинович, — прибавила она, обращаясь к Средину, который пошел было за нею.

— Что с Марией Николаевной? — тревожно спросил Горький, когда она ушла.

Средин пожал плечами:

— Не знаю. Не могу понять. Расстроена, но чем? Разве она скажет!

...На другой день Мария Николаевна не пришла, и

Средин, обеспокоенный ее отсутствием, отправился навестить ее. Мария Николаевна встретила его немного растерянно. Бледная, прямая, она сидела на диване и курила, глядя отсутствующим взглядом на своего собеседника. Разговор шел о каких-то малозначительных вещах: о погоде, о письмах, полученных от московских друзей. Говорил больше Средин, а Мария Николаевна рассеянно слушала, изредка невпопад вставляя односложные фразы. Средин заговорил о Горьком, о его чтении, и Мария Николаевна оживилась.

— Я много думала над этим чудесным рассказом, — сказала она. — Как в нем все верно и тонко! Как переданы чувства этих людей, обманувшихся в своем идеале, — ведь Таня была для них идеалом, в который они верили... Как переданы их разочарование, душевная боль, злоба, когда она не выдержала испытания... — Мария Николаевна помолчала, потом прибавила уже как бы про себя: — А что может быть тяжелее, чем разочарование в человеке, которому веришь беспредельно!

Средин понял: Мария Николаевна говорила о своих отношениях с мужем. Он молча ждал продолжения.

— Впрочем, это старая, скучная история, — добавила она, — и с моей стороны было бы просто невежливо утомлять вас ею, дорогой Леонид Валентинович.

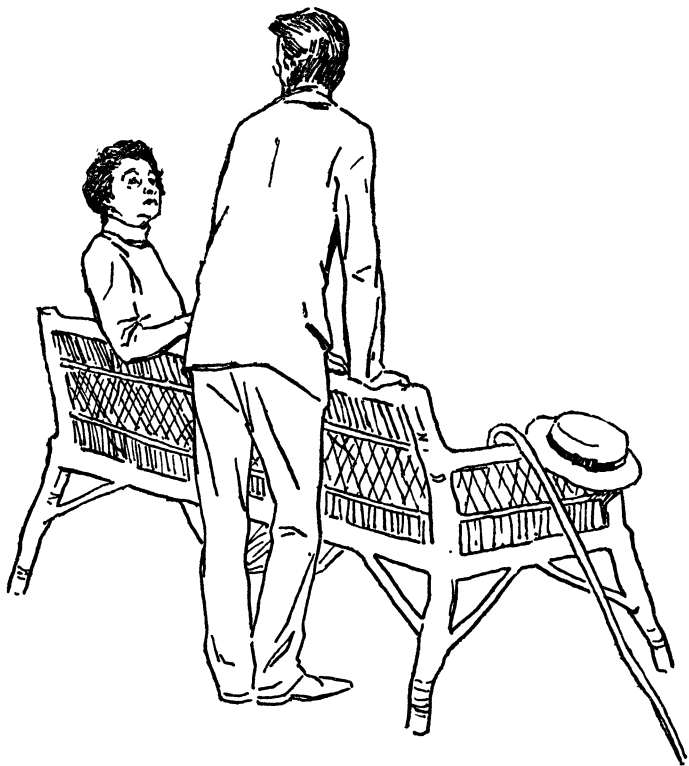
— Вы обижаете меня, — возразил Средин. — Если эта старая история волнует вас, как может она не трогать ваших друзей!

Мария Николаевна ответила ему долгим благодарным взглядом.

— Мне на долю выпало редкое счастье, — сказала она, — иметь такого друга, как вы. Верьте мне, я сильно чувствую это!

Средин молча поцеловал ее руку.

— Впрочем, совсем другое волнует и тревожит меня последние дни. Я... сама не своя, дорогой Леонид Ва-



лентинovich. Сомнения мучат меня. Я думаю, думаю... и не могу решиться.

— Решиться? На что?

Мария Николаевна вздохнула.

— Станиславский предложил мне перейти в Художественный театр, — сказала она. — Да какое там «предложил»! Он зовет меня, — и зовет настойчиво, упрямо! И я чувствую всей душой, что он прав, что в его руках единственное оружие, которым можно бороться против рутины, против театральной лжи. Мы сделали много — я говорю о Малом театре, — но все это уже в прошлом. А теперь... — Мария Николаевна безнадежно махнула

рукой. — Я знаю, — продолжала она, — дорогу в будущее открыли они — Станиславский и Немирович. Они открыли правду душевных переживаний, артистического чувства. Они поняли, что актеру нужно прежде всего чувствовать эту правду жизни, и только тогда он сможет занять принадлежащее ему место на сцене. Но что же мне делать, дорогой Леонид Валентинович? Оставить свой театр — ведь это значило бы изменить ему. И не просто оставить — нет! Бросить в трудном, можно сказать, отчаянном положении!

Мария Николаевна тихо, почти шепотом произнесла эти слова.

Средин долго молчал. Потом медленно сказал, глядя ей прямо в глаза:

— Я думаю, что вы уже сделали выбор... Малый театр — это ваш отчий дом, а вы не из тех, дорогой друг, которые покидают свой дом, как бы им ни было трудно. Вы никогда не простили бы себе, если бы поступили иначе. Не так ли?

Она протянула ему обе руки:

— Конечно, так. И кончено! Больше я не стану думать об этом.

## ГРУСТНЫЕ СОБЫТИЯ

Мария Николаевна вернулась из Крыма, и такими далекими показались ей светлые дни, проведенные в Ялте, — солнце, море, срединская терраса, — что порою хотелось спросить себя: да полно, было ли все это на самом деле?

Александра Ильинична уже не вставала с постели, и Мария Николаевна с сестрами попеременно дежурили возле нее. А играть приходилось каждый день, и все трудные роли. Приближался бенефис, и надо было выбрать для него пьесу.

В театре царило волнение.

Назначен был новый директор императорских театров, и вся труппа готовилась к встрече с ним. Наконец он приехал и...

«...какую «милую» речь нам сказал директор... он вообразил, что пришел в подготовительный класс, в гимназию и, как любящий, но строгий начальник, сказал... что надо слушаться пуще всего начальства, учить уроки и слушаться старших. А кто не будет исполнять, того высекут. Так все мы и остолбенели от удивления, а потом заволновались: ждали умного человека, а приехал дурак... никогда не слыхавший в жизни, что такое артист...»

Так в шутливой форме, но очень верно Мария Николаевна в письме к Средину описала встречу с новым директором — князем Волконским.

Прошло немного времени, и горестное событие взволновало всю театральную Москву. Умерла Надежда Михайловна Медведева. Марию Николаевну глубоко поразила эта смерть. Только теперь, казалось, она почувствовала, какое место в ее жизни занимала эта большая актриса, наставница и друг. Странно было сознаться, но Мария Николаевна до сих пор чувствовала себя ее послушной ученицей, привыкшей видеть в ней опору и защиту. Она вспоминала ее доброту и в то же время строгость и требовательность. Не так просто было добиться ее признания. Лишь после спектакля «Орлеанская дева» Надежда Михайловна сказала, крепко обняв ее:

— Ну, Машенька, теперь ты стала настоящей актрисой!..

Вспоминались какие-то мелочи, ее веселые поддразнивания, которые так помогали работать, и не верилось, что ее уже нет...

2 января 1900 года.

Время летит, как ветер, как сон, только сны меняются часто, а тут все одно и то же: театр и болезни бесконечные. Я теряю почву под ногами, когда так мрачно кругом, и перестаю жить...

15 января.

Маме очень плохо. Вчера хлынула горлом кровь. Она безропотно переносит все страдания. Мы с Аннетой провели возле нее весь день. К вечеру полегчало.

29 января.

Бенефис прошел во вторник, но мне не дали отдохнуть. Измученная, я играла чуть не каждый день и бродила, как в чаду. Я довольна бенефисом.

22 февраля.

Как давно я не бралась за перо! Не могла к столу подойти. Умерла мама. Мне странно даже написать это слово. Это единственная любовь, которая не знает ни сомнений, ни разочарований, ни недоверия — и такой любви больше нет для меня... Как пусто стало у нас в доме! Не играла только два дня.

10 марта.

Получила от Леонида Валентиновича хорошее, сердечное письмо. Оно меня порадовало. Последнее время я так нуждаюсь в его дружбе.

Погода стоит все еще очень холодная. Мерзну, леденею. А в Крыму уже весна. Солнце, море, белые цветы, голубые птицы... Поехать бы в Ялту, забраться на срединскую террасу, посмотреть в его умные, все понимающие глаза и вновь обрести покой и то светлое настроение, которое не покидает меня в его присутствии...

...Это было трудное для Марии Николаевны время — и в личной жизни, и в жизни актрисы. Ей исполнилось 47 лет, и все чаще преследовала ее мысль, что пора переходить на другие роли.

«Я еще не могу освоиться с мыслью, — писала она Средину, — что я дошла до такой точки, от которой жизнь моя должна принять иное направление. Оттого я так и сбилась и растерялась немного...»

Но было и радостное событие в этот тяжелый год. У Марии Николаевны родился внук, и жизнь украсилась новой привязанностью, новой нежностью и любовью.

## ЕРМОЛОВА УХОДИТ, А ОНИ ОСТАЮТСЯ

В 1906 году всю труппу Малого театра взволновала тяжелая болезнь Федотовой. У нее отнялись ноги, и она принуждена была бросить сцену. Мария Николаевна была очень расстроена. Она всегда высоко ценила талант Федотовой, ее искреннюю любовь к театру, и в былые годы немало огорчений причиняло ей их невольное соперничество.

Мария Николаевна понимала, как тяжело было этой большой актрисе, еще в расцвете сил и таланта, энергичной и властной, оказаться прикованной к креслу, вдали от театра, которому была отдана вся ее жизнь. И Мария Николаевна окружила больную самой нежной заботой. Она часто навещала ее, присылала фрукты, цветы. А когда Федотова переехала из Москвы в свое имение на берегу Оки, близ города Каширы, она в течение многих лет переписывалась с нею. В письмах она посвящала ее во все мелочи театральной жизни, которые живо интересовали Федотову, сообщала о новых постановках, о своих сомнениях, удачах и неудачах. Мария Николаевна всячески старалась подчерк-



нута, какой потерей для театра явился уход со сцены Федотовой, как осиротел без нее Малый театр:

«Вы ушли, и точно последний свет погас. С вами ушло искусство, с вами ушло серьезное, строгое отношение к делу... Когда вы были, вы спорили, говорили, возражали, и вас слушали, а теперь некому ни говорить, ни слушать».

Мария Николаевна пыталась поддержать в Федотовой надежду на выздоровление и на скорое возвращение в театр:

«Будем желать, чтобы имя Федотовой вновь заблестело на нашей сцене!.. знаешь, что пока есть Федотова, жив еще добрый гений Малого театра... У всех сердца забились надеждой увидеть вас на сцене».

Рассказывая Федотовой о событиях театральной Москвы, Мария Николаевна делилась с нею своими горестными размышлениями об упадке искусства вообще и, в частности, о падении Малого театра:

«...очень больно даже видеть и слышать, что делается. И ниоткуда не видать еще просветления... наше дорогое, милое искусство, что с ним теперь!..»

«...горькое время мы переживаем. Теперь театр представляет басню об умирающем льве, которого ослы лают со всех сторон.

Горько еще то, что мы с вами не можем уже поддержать своими силами падающее здание...»

«Вам с вашим живым умом и энергией, может быть, и скучно в вашем уединении, но такая теперь сумасшедшая жизнь, что, право, приходится иногда вам завидовать...»

Миновал памятный 1905 год. В России свирепствовала реакция — полевые суды, ссылки, смертные казни. Суровой расправе подвергались лучшие люди страны. В заточении в Петропавловской крепости оказался Горький. Арестованы и сосланы были почти все друзья

Средина — в Ялте распоряжался известный своей жестокостью генерал-губернатор.

Мария Николаевна была глубоко подавлена. Трудно было жить, еще труднее — работать. Все тяжелее становится ее положение в театре. Никогда не знавшая фальши, с отвращением отворачивается она от насквозь ложного искусства:

«Ломанье, шарлатанство, оплевывание идеалов, которым мы молились... Страшно, страшно теперь жить».

Все чаще склоняется она к мысли об уходе из театра — если не навсегда, то хотя бы на время. Друзья и товарищи уговаривают ее не торопиться.

— Потерпите, выждите! Пожалейте прошлое Малого театра. Кто без вас останется?

— Нет, нет, силы мне изменяют. Тридцать семь лет я отдала сцене и утомилась. Мне нужен год отдыха, чтобы отойти от театра, успокоиться и примириться с мыслью, что я больше не «героиня». Сразу на глазах у публики мне тяжел этот переход. Нельзя сегодня быть царицей, а завтра почтенной и скучной старушкой... Больше всего мне не хотелось бы, чтобы публика начала жаловаться на мою усталость, этого не допускает моя артистическая гордость.

Мария Николаевна сообщает о своем решении начальству, ссылаясь на то, что она хочет отказаться от ролей молодых героинь, — случай редкий в театральном мире. Она предлагает наполовину сократить ей жалованье, и дирекция охотно соглашается на ее просьбу, не дожидаясь даже утверждения конторы.

1907 год. По Москве разносится тревожная весть. В воскресенье 4 марта Ермолова выступает в последний раз перед годовым отпуском. Москвичи волнуются: ходят слухи, что Мария Николаевна навсегда покидает сцену.

Вечером 4 марта она играет роль царицы Зейнаб в

пьесе Сумбатова-Южина «Измена». Чествование артистки запрещено дирекцией: Ермолова прослужила в театре тридцать семь лет — цифра не юбилейная. Приняты все меры, усилен отряд полиции в театре, строго запрещено чтение адресов и приветствий.

Но все напрасно! Спектакль превращается в сплошную, все разрастающуюся овацию. Из переполненного зрительного зала несутся крики:

- Не уходите!
- Вернитесь!
- Не покидайте нас!

Зрители — не только раек, но и ложи всех ярусов и партер — стоя приветствуют любимую актрису. Цветы летят к ее ногам.

Под бурю рукоплесканий Ермолову венчают золотым венком. За кулисами рабочие подносят ей квадрат, вырезанный из пола старой сцены Малого театра, по которому она сделала свои первые шаги в «Эмилии Галотти».

После третьего акта разносится слух, что дирекция запретила поднять занавес, что Ермолова не выйдет к публике.

И настоящая буря поднимается в зрительном зале.

- Занавес! — кричат зрители.
- Ермолова! Ермолова!

Свистят, топают ногами, шикают. Наконец занавес поднимается.

Поддерживаемая Ленским и Южиным, Мария Николаевна подходит к рампе.

- Тише! Слушайте Ермолову!
- Она будет говорить!
- Тише!

— На мою долю выпала великая честь быть артисткой Малого театра. — Голос ее дрожит, на глазах слезы. — Сегодня в моем лице вы чествуете наш дорогой

Малый театр. Я вместе с моими товарищами, как могла, служила его возвышенным идеалам. И я надеюсь, что еще буду, может быть...

В оглушительных аплодисментах тонут последние слова.

«Стыд — вот впечатление, которое вынесет сценический мир, а с ним вся театральная Москва и вся культурная Россия от известия об уходе Ермоловой и о тех мерах «пресечения» и «предупреждения», которые так усердно применяло театральное начальство, желая свести прощание публики с великой артисткой в рамки циркулярного «порядка»! Стыд и позор! — Эти гневные слова москвичи читают после прощального спектакля в журнале «Театр и искусство». — Впрочем, что делать Ермоловой в этой усыпальнице? Ведь это все «острова мертвых» — эти казенные будки, именуемые театрами. Какие-то Хлестаковы распоряжаются Малым театром. Ермолова уходит, а они остаются. Ермолова уходит, оставляет сцену в возрасте, который для трагической актрисы можно назвать только зрелым... Ермолова уходит, и бумажная стена циркуляров отделяет ее от публики, подобно тому как она наглухо отрезала Малый театр от живой жизни...

По чиновничьему ритуалу отпустили гениальную актрису, по чиновничьему ритуалу устроили прощальный спектакль. Номер бумаги, светлые пуговицы — вот и всё. Над московским Малым театром можно отныне смело поставить надгробную плиту...»

11 марта. Шесть часов вечера. К подъезду большого дома на Мясницкой то и дело подъезжают извозчики пролетки. Огромный зал Литературно-художественного кружка полон народу. По всему залу расставлены парадно накрытые столы.

Сегодня торжественный обед в честь Ермоловой. На стене, прямо против входа, весь в цветах, освещенный невидимыми лампочками, ее портрет работы художника Серова — во весь рост, с вдохновенными, устремленными вдаль глазами, в длинном бархатном платье с высоким воротником. За центральным столом — такая же стройная, строгая и величественная, как на портрете, — сидит Мария Николаевна. Взволнованным взглядом обводит она присутствующих. Сколько знакомых лиц! Актеры, писатели, ученые, художники. Вот Владимир Иванович Немирович-Данченко, вот Давыдов, Корш, вот над всеми возвышается прекрасная голова Станиславского. Вот историк Ключевский, вот Павел Никитич Сакулин — профессор Высших женских курсов, вот Бахрушин...

Неужели все они собрались сюда ради нее? Да, стоило отдать тридцать семь лет труда за эти минуты гордости и счастья!

Чтение адресов, приветствий, телеграмм, речи. Все это как во сне: то приближается и становится ясным и отчетливым, то отодвигается куда-то далеко, застилаясь туманом.

— Как старый слуга науки... Союз науки и искусства...

Мария Николаевна прислушивается. Это Ключевский приветствует ее.

— Королева русской сцены... — долетают до нее слова Корша.

Один за другим сменяются ораторы. Взволнованные лица. Цветы.

— Вы были нашим солнцем, вы озаряли нашу молодость, Мария Николаевна...

— Палачи могли сжечь сочинения Вольтера, — на весь зал звенит голос артистки Яворской, — но никто не может отнять у русского искусства Ермолову...

Артистка Яблочкина оглашает чью-то телеграмму. Еще не прочитана подпись Федотовой, но Мария Николаевна уже догадывается, кто послал это дружеское приветствие, полное сердечности и любви. Теперь уже до конца дней не ляжет между ними тень былой розни.

И Мария Николаевна вспоминает, как перед Новым годом она ездила к ней в Каширу. Беспомощная, прикованная к креслу фигура, по-прежнему прекрасные, удивительно молодые глаза. Сколько еще энергии, воли к жизни, жажды творчества в этой женщине! Как она ожила, расспрашивая Марию Николаевну о театральных делах! Былая легкость, уверенность появились в ней. Неужели в одиночестве, вдали от сцены, от друзей погаснет пламя этой богатой души? Как больно, что она не может присутствовать на сегодняшнем празднике...

На смену Яблочкиной выходит актер Правдин. В руках у него только что полученные телеграммы. Он раскрывает первую из них:

— От управляющего конторой московских театров фон Бооля...

Пронзительные свистки, шиканье, крики «долой», «позор» несутся со всех концов зала. Седые профессора, общественные деятели, писатели, внезапно помолодев, как мальчишки с галерки, свистят и кричат, не давая продолжать чтение. И Мария Николаевна, пожалуй, в первый раз в жизни испытывает злорадное чувство: «Ага, так им и надо!»

С видимым удовольствием Правдин откладывает в сторону злополучную телеграмму.

Владимир Иванович Немирович-Данченко произносит речь от Художественного театра:

— Наше удивление перед вами искренне и глубоко... Вся ваша жизнь, ваша фантазия, вся мощь вашей артистической личности беспрерывно находились в том ми-

ре, радостном и скорбном, который назовем мы царством возвышенных иллюзий. Ваш талант приобщил вас к этому миру, и через вас совершилось то чудо, которое кроется в идее театра...

## ОБЫКНОВЕННОЕ УТРО

В это утро Мария Николаевна поднялась рано. В квартире было тихо и пусто, домашние накануне переехали на дачу. Мария Николаевна осталась на несколько дней одна, и это было даже приятно. Дел уже никаких не было, театр закрылся на летний сезон, друзья разъехались.

Сквозь открытые окна врвался уличный шум, ярко зеленела на солнце свежая, еще не успевшая запылиться листва деревьев Тверского бульвара. Дети резвились на бульваре, бегали взапуски, играли в мяч, прыгали через скакалку. Толстые, нарядные няньки катили колясочки или судачили, сидя на скамейках. Сквозь лилово-розовые стекла окон они казались сбежавшими с лубочных картинок...

Марии Николаевне захотелось побродить по городу — вот так, без цели, не на репетицию, не на спектакль, не на концерт. Она быстро собралась, спустилась по деревянной лестнице, прошла по бульвару, пробираясь между детьми, колясками, няньками, мимо памятника Пушкину. Вышла на Тверскую, здесь былолюдно и шумно, свернула в переулок, потом в другой.

Солнце стало припекать, она раскрыла зонтик — он защищал и от любопытных взглядов. Давно уже не испытывала она такого чувства легкости. Не надо было никуда торопиться, не надо было думать о работе, о театре. Наоборот, она приказала себе думать о чем-либо постороннем. И... думала только о работе, о театре, о

ролях, о пьесах. Не прошло еще и двух месяцев с тех пор, как начался ее годичный отпуск, а для нее уже трудна была разлука с театром, с публикой. Никому, даже сестре, не призналась Мария Николаевна, что чуть ли не на следующий день после чествования в Литературно-художественном кружке она уже задумалась над ролью, в которой встретится со зрителями через год. Может быть, Кручинина в пьесе Островского «Без вины виноватые»? Но ведь Кручинина молода. Да, но у нее уже взрослый сын, она столько перестрадала...

Так шла она, погруженная в свои мысли, не замечая, что иные прохожие почтительно уступали ей дорогу, провожали восхищенными взглядами. Наконец она остановилась, огляделась и замерла в изумлении. Так вот куда привели ее тихие московские переулки! Как давно она здесь не была! Или, не отдавая себе отчета, она невольно сюда и стремилась этим летним утром.

Мария Николаевна ускоряет шаги — поворот направо, потом налево, — вот и Каретный ряд, площадь Спаса! Деревянный домик с полуподвальным этажом! Она вздыхает с облегчением. Цел, стоит еще, только покосился и окна еще больше ушли в землю. А рядом второй — на каменном фундаменте. Этот лучше сохранился. Сколько здесь было проведено вечеров в тесных комнатках Веры Топольской!

А маленькое церковное кладбище поросло травой, его почти не видно. Или оно только казалось большим? Картины далеких лет проносятся перед глазами Марии Николаевны. Белое привидение — девочка в длинной маминой рубашке, с распущенными волосами — движется между надгробных плит, приводя в трепет маленьких зрительниц и сама пугаясь вместе с ними...

Мария Николаевна долго неподвижно стоит, не в силах оторваться от жалких домиков, с которыми связано столько воспоминаний.



«А ведь мы были счастливы тогда, несмотря ни на что!» Воскресные чтения вспоминаются ей: три маленькие девочки, жадно слушающие отца, боясь упустить хоть слово, его лицо, так необыкновенно преобразившееся в эти минуты, Александра Ильинична, замершая над своим шитьем...

Кто живет теперь здесь? Детские голоса доносились со двора. Мария Николаевна осторожно приоткрыла калитку и чуть не вскрикнула. Уж не сон ли это?

Посередине двора возвышалась сцена, построенная из перевернутых ящиков. На них можно было различить яркие наклейки чайной фирмы «Я. Высоцкий и сын». Дети в причудливых нарядах суетились возле сцены. Мальчики, с перекинутыми через плечо полотенцами — плащами, с прикрепленными к поясу палками — шпагами. Девочки в пышных кринолинах, сшитых из гофрированной цветной бумаги, с бумажными цветами в волосах...

Мария Николаевна проскользнула через калитку и поспешила укрыться за деревянным крыльцом. Шли последние приготовления перед спектаклем. Девочки украшали сцену, расставляли стулья; мальчики прикрепляли простыню — занавес к двум шестам, воткнутым в землю. На скамейке сидели и терпеливо ждали три маленькие зрительницы. Одна покачивала на руках тряпичную куклу.

На дереве — единственном во дворе — висела большая афиша. Крупными разноцветными буквами на ней было выведено: ТЕАТР! И ниже: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА. Далее уже более мелкими буквами шло перечисление имен: Таня Рябинина, Наташа Стрельцова, Миша Метелкин... Какие роли исполнялись юными актерами, какой спектакль давали в этом «театре», в афише указано не было. Должно быть, она была постоянная — для любого спектакля.

Но вот все стихло. Актеры скрылись за занавесом. Маленькие зрительницы захлопали в ладоши. Спектакль начался. Однако, как ни старалась Мария Николаевна, она так и не могла разгадать, какая же пьеса разыгрывалась перед ее глазами. Одно было ясно: на сцене изображался великосветский бал. Кавалеры-мальчики склонялись перед дамами-девочками, кружились с ними в вальсе, подпрыгивая и спотыкаясь о неровный пол. Пажы с подносами обходили гостей, и гости пили из пустых бокалов... Но вот одна из дам в ярком розовом кринолине вышла на авансцену и запела тоненьким голоском:

Пусть стал он жертвою изгнания,  
Он дорог и в чужбине мне...

Мария Николаевна вздрогнула. Это была песенка Маританы из «Испанского дворянина». Так вот какую пьесу они играли!

И я за все его страданья  
Должна любить его вдвойне...

Один из гостей, в черной маске, что-то говорит Маритане. Это король. Она умоляет его пощадить дон Сезара:

Если вы сделаете это, я отдам вам всю мою жизнь!..

— На колени, на колени! — Громкий шепот слышится в наступившей тишине, и откуда-то снизу из-под сцены показывается лохматая мальчишеская голова «суфлера».

Но Маритане жаль портить свой великолепный бумажный костюм. Она наклоняет голову и, неестественно изогнувшись, опускается на одно колено...

Со слезами на глазах Мария Николаевна тихонько прикрывает за собой калитку и легкими шагами идет через площадь. Какое чудо привело ее сюда? Как случилось, что, выйдя побродить в это обыкновенное лет-

нее утро, она вернулась в далекое детство и снова убедилась в волшебной силе театра? Кто знает, быть может, пройдут годы и вся Москва услышит имена Тани Рябиной, Миши Метелкина...

## КАК ВЕТЕР, КАК СОН

Близится к концу годовой отпуск Ермоловой. По-прежнему мрачна и темна жизнь вокруг, по-прежнему пустые, бессодержательные пьесы, полные лжи и пошлости роли.

Ленский стоит теперь во главе Малого театра — большой актер, энергично вступающий в борьбу с казенным, чиновничьим произволом.

— Публика думает, что актеру сыграть пустую, бессодержательную роль только скучно, и ничего больше, — однажды сказал он Марии Николаевне. — Жестокая ошибка!

Верная своему обещанию, Мария Николаевна ровно через год — 4 марта 1908 года — вновь появляется перед публикой в роли Кручининой в пьесе Островского «Без вины виноватые». Как прошлогодний прощальный спектакль, так и эта первая после разлуки встреча с публикой превращается в чествование великой артистки.

По ходу пьесы Дудукин — местный покровитель искусств — такой речью приветствует актрису Кручинину:

— «Господа, я предлагаю выпить за здоровье артистки, которая оживила заглухшее стоячее болото нашей захолустной жизни... будем же благодарны избранным людям, которые изредка пробуждают нас и напоминают нам о том идеальном мире, о котором мы забыли».

Но Ленскому, играющему роль Дудукина, публика не дает продолжать, относя эти слова к самой Ермоло-

вой. Голос Ленского тонет в аплодисментах и восторженных криках. Он умолкает и сам аплодирует Марии Николаевне вместе со зрителями.

Так встречает Москва свою любимую артистку.

А Мария Николаевна после годового отсутствия показывает в новой роли всю силу, весь блеск своего таланта.

Роль Кручининой делается одной из самых любимых в репертуаре Ермоловой. Любовь, радость, страдания, гордость, тоска матери — вот те чувства, которые она передает теперь с огромной силой.

Время летит, как ветер, как сон. Один за другим уходят из жизни друзья и старые товарищи. Давно уже нет любимого «деда» — Сергея Андреевича Юрьева, поистине жившего и умершего в театре (он внезапно лишился чувств в пролетке и, когда пришел в себя, угасающим голосом сказал извозчику: «В театр!»).

Не пришлось ему порадоваться успеху племянника, через несколько лет после его смерти вступившего на сцену Малого театра. Это Юрий Михайлович Юрьев, тот самый гимназистик, который, спрятавшись за кулисами, смотрел «Орлеанскую деву» и, потрясенный игрою Ермоловой, поклялся отдать свою жизнь театру. Он сдержал свою клятву. Вся театральная Москва была взволнована, узнав из афиш, что в бенефис Федотовой одну из главных ролей играет дебютант — ученик второго курса Драматического училища. Даже не третьего, а второго, почти мальчик! В спектакле, в котором участвуют Федотова, Ермолова, Южин, Ленский. Это был поистине редчайший случай!

В 1908 году умирает Ленский, и Мария Николаевна тяжело переживает горе, постигшее Малый театр. Следующий год приносит ей горькую весть о смерти Средина, и меркнет светлый огонек, озарявший десять лет ее жизни.

В памяти Марии Николаевны навсегда остается его образ перед последней разлукой в Ялте. Пароход, сутолока, шумная толпа, дамы в белых платьях и на набережной — милая, высокая, немного сутулая фигура в соломенной шляпе, в светлом чесучовом костюме. Он машет рукой, и Мария Николаевна не отрываясь смотрит на него. Вот он исчезает, пароход медленно проходит вдоль городка. Знакомый дом на горе, терраса, на которой было проведено столько счастливых часов, и больше ничего не видно...

Время летит. Подрастает внук Коля. Заботам о нем Мария Николаевна отдает все свое свободное время. Между ними трогательная дружба. Они читают друг другу вслух, спорят о любимом писателе Диккенсе, пишут друг другу письма в стихах, и случается даже, что Мария Николаевна сочиняет для внука сказки.

30 января 1910 года исполняется сорок лет работы Ермоловой в театре. Этот день она проводит в имении близ Каширы, у Гликерии Николаевны Федотовой.

Уютная, светлая комната, старинные портреты на стенах, мягкие низкие кресла, дрова потрескивают в камине. За окнами — красноватые стволы сосен, снег — такой белый, что больно глазам, и тишина, тишина. Спокойствие охватывает душу, далекими и ничтожными кажутся все мелочи повседневной жизни. Гликерия Николаевна, в белом кружевном чепчике, помолодевшая, оживившаяся, полулежит на кушетке.

В воспоминаниях о былых днях, о горестях и радостях, о товарищах по сцене — живых и навсегда ушедших — проходит этот короткий зимний день.

— Ведь вот говорили, что мы с вами не были дружны, Мария Николаевна, голубушка! — Проницательные, живые глаза Гликерии Николаевны смотрят открыто и правдиво. — Я всегда, всегда горячо любила вас, и никакие злые силы не могли бы расторгнуть наш союз.

...1914 год, мировая война. Мария Николаевна тяжело переживает это общее народное бедствие. Родные и знакомые уходят на фронт. Не дождавшись возвращения мужа и сына, умирает от горя младшая сестра Александра Николаевна. Каждая газетная страница приносит новые страшные вести...

А в Малом театре идут легкие комедии, пошлые пьесы для развлечения «героев тыла». Во главе Малого театра стоит теперь Южин. Вместе с лучшими актерами пытается он поднять театр, освободить репертуар от пошлых произведений театральных ремесленников. Сколько усилий приходится тратить, для того чтобы добиться разрешения конторы на постановку пьесы, достойной Малого театра!

Преодолевая болезни, слабость, смертельную усталость, Мария Николаевна пытается хоть советом помочь Южину в его трудном деле. Ее поражают его душевная стойкость, тонкое понимание жизни, удивительное умение обходиться с людьми. Разговор с ним всегда успокаивает ее, вносит надежду.

— Напрасно думают эти господа из конторы, что можно достигнуть чего-нибудь одними указами! Не контора, а сцена дает жизнь искусству. Не контора, а сцена воспитывает общество, и эти чиновники, важно расхаживающие по театру, еще смеют снисходительно отвечать на поклоны актеров! Вот в ком таится главное зло, угнетающее и разрушающее искусство!

— Да, да, вы правы, дорогой Александр Иванович! Все кричат: «Малый театр развалился, и нет ему спасения!» Это ложь. Спасти его можно, хватило бы только сил и желания.

— Главная сила Малого театра — это вы. И если вы захотите...

— Нет, нет, я никогда не умела бороться! Всегда я была актрисой, и только.

— Не говорите так, Мария Николаевна. Мы вместе будем бороться. Приказывайте, а я с восторгом и преданностью пойду за вами, как некогда молодой Дюнуа шел за своей Иоанной...

Горячей борьбе за театр эти два человека отдают все свои помыслы, все силы. Неудачи преследуют их, и не раз они приходят в отчаяние, теряют надежду, но снова и снова начинают борьбу за дело, которому отдана их жизнь.

## ЭПИЛОГ

Великие события происходят на исторической сцене, революционная буря проносится над страной, на полях гражданской войны решается судьба родины.

Ермоловой 64 года, но, как в пору молодости, звучит ее могучий голос. Слабая, больная, без отдыха участвует она в концертах и выездных спектаклях Малого театра, организованных для зрителей рабочих окраин. Друзья и родные умоляют ее пощадить себя, поберечь здоровье.

— Разве такое теперь время, чтобы думать о себе! — отвечает она.

Новые, невиданные дотоле зрители наполняют холодный, давно не топлённый зал Малого театра. В валенках, в шинелях, в полушубках прибывшие с фронта, едущие на фронт, жадно ловят они каждое слово актеров. Марии Николаевне радостно играть перед этими зрителями, для которых — она твердо уверена — театр не только зрелище, но и школа, в которой они ищут и находят силы для борьбы и труда. И Мария Николаевна показывает им лучшие свои создания за последние годы...

Хмурое утро 2 мая 1920 года. Несмотря на ранний

час, давно уже началась жизнь в тихих, строгих комнатах на Тверском бульваре. Старенькая няня Васильевна, вырастившая и дочь и внука, хлопочет по хозяйству. В гостиной уже накрыт стол для немногочисленных посетителей — близких друзей и родных, которых обычно Мария Николаевна принимает у себя.

Но Мария Николаевна в это утро долго не покидает своей спальни. Домашние осторожно проходят мимо ее двери, стараясь не шуметь, прислушиваясь. На лицах особая торжественность, они перешептываются о чем-то, советуются. Васильевна смотрит на часы и озабоченно качает головой — Мария Николаевна сегодня нарушает распорядок дня.

Между тем гостиная наполняется цветами. Огромные букеты в хрустальных вазах, большие корзины, перевитые белыми лентами, украшенные бантами, стоят на столе, на тумбочках, на полу. В кабинете на круглом столе растет гора писем и телеграмм.

Наконец дверь спальни отворяется, и на пороге появляется Мария Николаевна. Она в праздничном серебристо-сером шелковом платье. Широкие складки свободно падают, придавая необыкновенную мягкость ее все еще стройной фигуре. Черные, почти без проседи, гладко зачесанные назад волосы оттеняют высокий лоб и бледное, прекрасное и в старости лицо. Глаза смотрят задумчиво и спокойно.

Она обнимает домашних, потом неторопливо проходит в свой кабинет и принимается за чтение. Но не ладится сегодня обычное утреннее чтение. Медленно поднимается она с кресла и, остановившись у круглого стола, перебирает телеграммы и письма. Под руки ей попадает конверт, надписанный знакомым почерком. Лицо Марии Николаевны светлеет. Это пишет ее «верный, неизменный почитатель» Константин Сергеевич Станиславский.



«Дорогая, любимая, прекрасная Мария Николаевна. Сегодня... мы можем дать простор нашему чувству национальной гордости...

Вы — самое светлое воспоминание нашей молодости. Вы — кумир подростков, первая любовь юношей. Кто не был влюблен в Марию Николаевну и в образы, ею создаваемые?

Великая благодарность за эти порывы молодого, чистого увлечения, вами пробужденные. Неотразимо ваше облагораживающее влияние. Оно воспитало поколения. И если бы меня спросили, где я получил воспитание, я бы ответил: в Малом театре, у Ермоловой и ее сподвижников...»

Мария Николаевна долго неподвижно стоит с письмом в руках. Потом подходит к окну и, отдернув занавеску, с беспокойством вглядывается в тусклое небо. Свинцовые тучи нависли над Москвой, блестят мокрые крыши соседних домов, зеленеют посвежевшие, едва распустившиеся листья деревьев Тверского бульвара. Дождь...

Но дождь не мешает артистам всех московских театров собраться на Театральной площади. Так начинается праздник русского искусства — чествование Ермоловой, отдавшей театру пятьдесят лет жизни.

Торжественное шествие, над которым реет алый бархат с надписью «Ермолова — наше знамя», направляется к дому на Тверском бульваре. Впереди всех — труппа Малого театра.

В белом платке, высокая, величественная, Мария Николаевна появляется на балконе...

Вечером того же дня в Малом театре идет юбилейный спектакль, в котором занята вся труппа — таково желание Марии Николаевны.

«Я хочу только одного, — писала она Южину, — что-



бы в этот вечер все мои товарищи были со мной вместе... Что мне до того, что все выйдут на сцену для приветствия! Это не то; надо, чтобы все вышли на сцену для своего дела, а не для юбилея».

Исполняются отрывки из «Марии Стюарт» и третий акт «Горя от ума». В роли Марии Стюарт выступает Ермолова и, как в былые дни, потрясает зрителей силой своего вдохновения.

Два поколения зрителей приветствуют великую

актрису. Ее современники, пришедшие проститься с той, чье высокое искусство озаряло их молодость. К ним присоединяется новое, молодое поколение, пришедшее поблагодарить Ермолову за те минуты радостного волнения, которые она еще успела подарить ему своим искусством.

После антракта поднимается занавес. Начинается торжественное чествование. В левом углу сцены — Мария Николаевна, окруженная артистами Малого театра.

В зрительном зале — Ленин. Приветствуя Ермолову, он встает, и вслед за ним поднимается весь зал.

По предложению Ленина Совет Народных Комиссаров постановил впервые в Советском Союзе присвоить Ермоловой высокое звание Народной артистки Республики.

«Я глубоко горжусь честью, которая мне оказана этим подношением, и глубоко тронута тем именем, которым вы меня назвали. Всю свою душу Малый театр отдавал народу, и всегда стремились к нему он и я. И до конца дней мы всегда принадлежим народу».

Взволнованным прощальным взглядом обводит она знакомый круглый зал, сцену, всю уставленную цветами, — ту самую сцену, на которой она появилась шестнадцатилетней девочкой в «Эмилии Галотти» и на которой прошла вся ее жизнь.

Поздняя ночь. В глубокий сон погружен дом на Тверском бульваре. Только в двух окнах второго этажа сквозь розоватые стекла виден слабый свет. В кабинете за письменным столом сидит Мария Николаевна. Крупным дрожащим почерком пишет она письмо своим товарищам — актерам Малого театра.

«...Родные мои братья и сестры, только теперь я почувствовала всю глубину вашей любви ко мне и всю

горячую любовь мою к вам и привязанность к Малому театру. Когда живешь в семье, ведь не замечаешь, как дороги тебе отец и мать, еще иногда сердишься на них, но когда случится что-нибудь, нарушающее порядок обыденной жизни, радостное или горькое, тут только начинаешь чувствовать, как они дороги, как близки и как без них жить нельзя. Так и день 2-го мая заставил меня почувствовать всю радость, все счастье этой огромной, связывающей нас навеки любви. Не в криках восторга, не в словах «великая», «гениальная» я почувствовала это, но в той сердечной теплоте, в тех заботах обо мне, в тех слезах, которые мелькали на ваших глазах. Подумайте, как велико и свято, значит, то дело, которому мы служим... Сколько бы дней или месяцев ни осталось мне жить, вся моя душа и те остатки моего таланта, если они еще могут быть полезны, принадлежат вам, то есть Малому театру».

Последние годы Ермоловой протекли уединенно и тихо. Она скончалась 12 марта 1928 года. Тысячи москвичей шли к дому на Тверском бульваре, чтобы проститься с великой актрисой. Народу было так много, что родные Марии Николаевны боялись, как бы не рухнули деревянные лестницы дома, построенного еще до нашествия французов.

Гражданская панихида была назначена в Малом театре. Накануне дня похорон, теплым весенним вечером, при свете факелов Москва проводила свою любимицу к театру, которому была отдана жизнь чистая, вдохновенная, полная любви и труда.

## ДЕТСТВО

«Тебя защищают дон Сезар и его шпага!» . . . . .	3
Это нужно сыграть совсем не так . . . . .	11
Театральное училище . . . . .	15
Две Вари . . . . .	19
Балетная му́ка . . . . .	24
У комода . . . . .	30
Лазарет . . . . .	33
Невозможный паж . . . . .	36
Через три года . . . . .	41
«Театр — отец, театр — мне мать...» . . . . .	44
Свидание . . . . .	47
«Жених нарасхват» . . . . .	51
Приговор . . . . .	57

## Ю Н О С Т Ь

Перед каникулами . . . . .	62
Большой дом . . . . .	64
Буду играть! . . . . .	70
Первая репетиция . . . . .	73
За кулисами . . . . .	75
30 января 1870 года . . . . .	77
Подруги . . . . .	83

Успех . . . . .	86
Перед выпуском . . . . .	91
Трудные годы . . . . .	93
Из дневника . . . . .	96
Владыкинский кружок . . . . .	99
Любимица молодежи . . . . .	103
У Топольской . . . . .	104
Закулисная гроза . . . . .	109

## С Л А В А

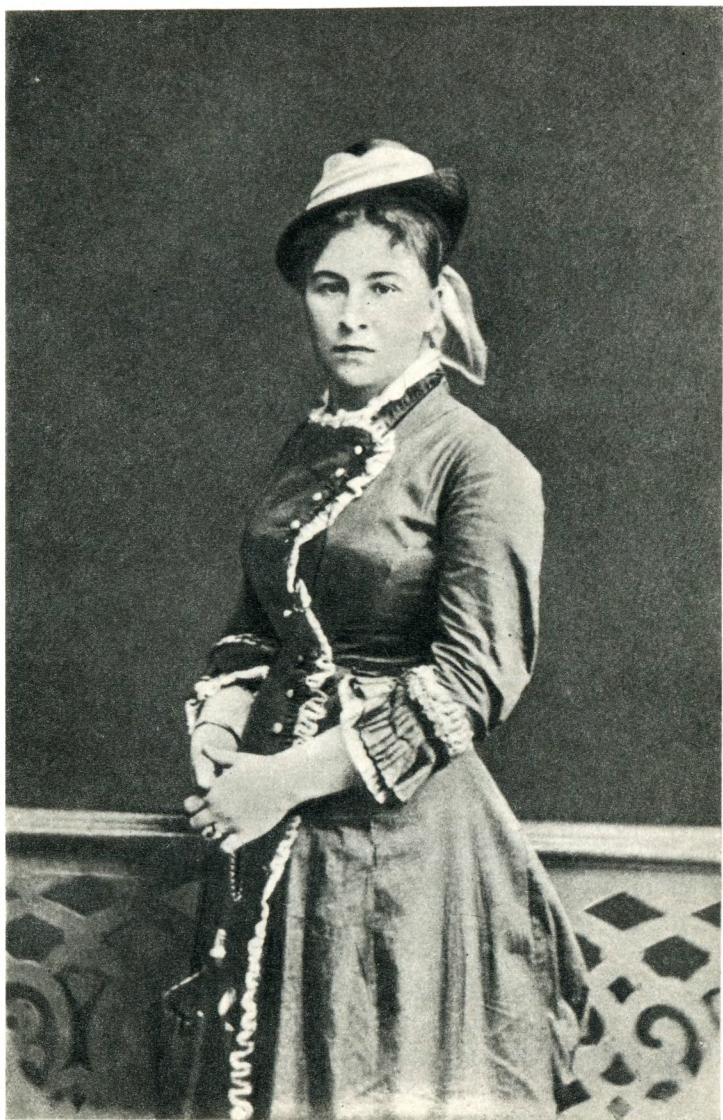
Первый бенефис . . . . .	111
Заколдованный мир сцены . . . . .	117
«Таланты и поклонники» . . . . .	125
Признание . . . . .	130
«Орлеанская дева» . . . . .	136
Заботы . . . . .	149
Поиски . . . . .	152
Играю, играю, играю!!! . . . . .	155
Друг . . . . .	159
Памятный вечер . . . . .	161
Грустные события . . . . .	168
Ермолова уходит, а они остаются . . . . .	171
Обыкновенное утро . . . . .	173
Как ветер, как сон . . . . .	18
Эпилог . . . . .	18

Для среднего и старшего школьного возраста

*Тынянова Лидия Николаевна*

## ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОЙ АКТРИСЕ

Ответственный редактор Лемперт Э. М. Художественный редактор Левинская Н. Э.  
 Технический редактор Леканова Н. Г. Корректоры Н. А. Сафронова и К. П. Тягелская  
 Сдано в набор 8/II 1966 г. Подписано к печати 20/IV 1966 г. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Печ. л. 6,25.  
 Усл. печ. л. 8,82 (Уч.-изд. л. 8,33+4 вкл.=8,73.) Тираж 50 000 экз. А00652. ТП 1966 № 531.  
 Цена 40 коп. на бум. № 1. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер. 1.  
 Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Сушевский вал, 49, Зак. 3720.



М. Н. Ермолова.  
1877 г.



М. Н. Ермолова.  
Конец 80-х гг.





М. Н. Ермолова в роли Марии Стюарт.  
„Мария Стюарт“ Ф. Шиллера, 1886 г.





М. Н. Ермолова в роли Эстрельи.  
„Звезда Севильи“ Лопе де Вега, 1886 г.



М. Н. Ермолова в роли Иоанны.  
„Орлеанская дева“ Ф. Шиллера, 1894 г.



М. Н. Ермолова.  
1895 г.





А. М. Горький, М. Н. Ермолова, Л. В. Средин, А. Н. Алексин.  
на даче Л. В. Средина.  
Ялта. 1899 г.



М. Н. Ермолова в последние годы жизни.



Цена 40 коп.

Р. 2



Л. ТЫНЬКОВА ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОЙ АКТРИСЕ

Л. Т Ы Н Ъ Н О В А

№ 9

7-13

ПОВЕСТЬ  
ВЕЛИКОЙ  
АКТРИСЕ

